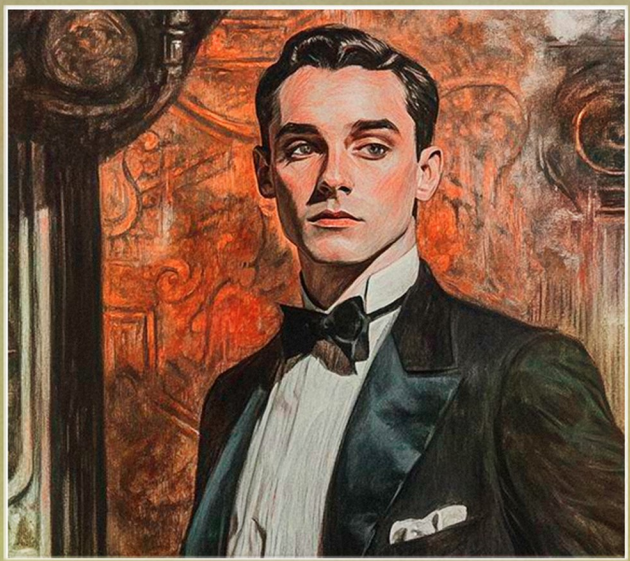
ДЖОН ГОЛСУОРСИ

JOHN GALSWORTHY

ЧЛЕН ПАЛАТЫ МИЛЬТОУН



Член палаты Мильтоун
Джон Голсуорси

Аннотация
Джон Голсуорси. Член палаты Мильтоун
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава xvi
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX

Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Глава XXXIV
Глава XXXV
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII
Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI

Аннотация

Окунитесь в запутанный мир викторианской Англии вместе с романом Джона Голсуорси «Член палаты Мильтоун», повествующем об истории любви амбициозного политика Мильтоуна – представителя аристократического семейства Карадоков, которому предстоит сделать сложный выбор между чувствами и карьерой. Любовь перевернула всю его жизнь, но найдет ли он в себе силы противостоять ханжеству высшего света с его моралью, показной праведностью и лицемерием.

Джон Голсуорси
Член палаты Мильтоун

John Galsworthy
«THE PATRICIAN»
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»

Глава I

Первые лучи утреннего солнца, ворвавшиеся в огромную, высокую комнату, — такую высокую, что ее сводчатый потолок нельзя было хорошенько рассмотреть при таком освещении, — точно с холодным любопытством скользили по ее стенам, заглядывали во все ее углы. Действительно, они могли открыть много интересного в странном убранстве этой комнаты, напоминавшем исторический музей.

Тут, в этой громадной столовой, одной из красивейших в Англии, были собраны все трофеи и старинные документы владельцев замка, доказывающие древнее происхождение семьи Карадоков. Кругом этой залы были сделаны новые пристройки, отреставрированы старые строения, но монументальная столовая замка Монкленд Коурта осталась в прежнем виде и сохранила в неприкосновенности свой старинный полу-монастырский характер. Однако, беспристрастные лучи утреннего солнца обнаруживали следы разрушения на всех этих предметах, составляющих гордость семьи Карадоков, как будто

указывали те перемены, которые произошли в жизни владельцев замка.

Скользнув по строгим рисункам старинных ковров, обоев, мебели и по монументальному камину, луч солнца осветил потом современные предметы, попавшие в эту историческую залу, точно намеренно подчеркивая контраст настоящего с великим прошлым, отличавшимся аскетизмом и словно порицающим современных графов и графинь Карадоков за их уступки духу времени.

Часы проходили, но огромная столовая оставалась безмолвной и пустынной, пока солнце не взошло достаточно высоко и не осветило всей комнаты. Тогда только явились первые посетители. Это были три девушки, румяные, веселые и болтливые, с щетками в руках, энергично принявшиеся за работу. Затем пришли два лакея. Они постояли молча несколько мгновений, как бы обозревая комнату, и наконец, принялись накрывать на стол. Наконец, в дверь заглянула еще одна посетительница, маленькая девочка лет шести, в платье с широким кушаком и в переднике. Это была Энн Шроптон, дочь сэра Вилльяма Шроптона и леди Агаты, единственной замужней дочери лорда Валлейса из семьи Карадоков.

Маленькая Энн пришла посмотреть, нет ли чего-нибудь интересного в столовой. Это был ее обычный утренний визит. Девочка поднялась на цыпочки, надеясь что-нибудь высмотреть. У нее было круглое, маленькое личико с большими темными глазами газели, весело и открыто смотрящими на окружающий мир, и маленький, вздернутый носик, придающий ее личику какое-то особенно задорное выражение.

— Вон там сидит шмель, Вилльям, — обратилась она к лакею. Как вы думаете, не могу ли я приручить его, если посажу в свою стеклянную коробочку?

— Нет, я этого не думаю, мисс Энн. Берегитесь, он может вас укусить.

— Он меня не укусит.

— А почему?

— Потому что не укусит!

— Конечно… если вы так говорите.

— К которому часу заказан автомобиль? — вдруг спросила она.

— К девяти.

— Ну, так я поеду с дедушкой до заставы.

— А если он вас не возьмет.

— Но я все равно поеду.

— Конечно.

— Как вы думаете, Вилльям, будет дядя Евстафий выбран в парламент?

— Конечно.

— Как вы думаете, будет он хорошим членом парламента?

— Лорд Мильтоун очень умен, мисс Энн.

— Разве?

— А вы разве этого не находите, мисс Энн?

— И Чарльз тоже так думает?

— Спросите его.

— Вилльям!

— Что угодно?

— Я терпеть не могу Лондон. Я люблю этот дом, люблю Каттон и наш дом, люблю Пендридни и люблю Равентэм.

— Его сиятельство заедет в Равентэм по дороге, как я слышал.

— О, так он увидит прабабушку! Вилльям!..

— Вот мисс Уоллес.

В дверях показалась дама с добродушным бледным лицом.

— Пойдем, Энн, — сказала она.

— Хорошо, — ответила девочка.

Дверь тихо закрылась и в огромной комнате наступила тишина, какая бывает обыкновенно в минуты, предшествующие появлению хозяев.

Вдруг накрывавшие на стол стали у стены. Вошел лорд Валлейс. Он медленно приближался к столу, не спуская слегка нахмуренных глаз с листка голубой бумаги, которую держал в руках. Лицо у него было строгое, борода и усы уже начали седеть, но держался он прямо, с какой-то солдатской выправкой. Вся его наружность носила отпечаток той самоуверенности, которая является результатом внутреннего удовлетворения условиями свой жизни и своими мыслями. Но, вместе с тем, все его движения указывали, что он не замечает окружающей обстановки, относясь к ней с тою особенною бессознательностью, которая характеризует людей, проводящих большую часть своей жизни на глазах общества и имеющих всегда под рукой весь необходимый механизм для своего материального существования.

Он рассеянно сел на свое место и, продолжая держать письмо перед глазами, начал есть то, что было поставлено перед ним. Заметив, что его старшая дочь Агата входит в комнату и садится рядом с ним, он сказал:

— Досадно уезжать в такую погоду.

— Сегодня заседание кабинета? — спросила она.

— Да, опять этот проклятый вопрос о воздуш-

ных шарах.

Темные глаза, резко выделявшиеся на нежном, тонком личике Агаты, были с беспокойством устремлены на буфет, где стоял поднос с кушаньями на особом приборе для разогревания. Она думала:

«Мне кажется, этот прибор лучше того, который был у меня… Хотела бы я знать, наконец, находит ли Вильгельм, в самом деле, этот прибор более удобным, чем прибор с горячей водой?..»

Тем не менее, хотя и занятая этими мыслями, Агата все же заставила себя обратиться к отцу и своим тихим, кротким голосом (ее движения и голос всегда были тихи и кротки, если ничто не угрожало благосостоянию ее мужа и детей) спросила его:

— Как вы думаете, разговоры о войне увеличивают шансы Евстафия?

Но отец не ответил ей. Он ласково кивал головой высокому, красивому молодому человеку, входившему в комнату.

Клод Френэ, виконт Гарбинджер, представлял собой так называемый нормандский тип. У него были правильные черты лица и слегка согнутый орлиный нос, но то, что было лишь слегка намечено в лице старика Валлейса, получало гораздо

большую определенность в лице молодого человека. Он казался более уверенным в себе и в то же время как будто боялся сказать что-нибудь лишнее, тогда как старик, не замечая того сам, бессознательно держал себя так, точно он должен служить образцом для всех, и, действительно, внушал это окружающим.

За молодым человеком вошла высокая, представительная женщина с темными волосами, леди Валлейс. Ее старшему сыну было уже тридцать лет, а ей было немного более пятидесяти. По ее голосу, манере держать себя и говорить можно было догадаться, что некогда она считалась всеми признанной красавицей. Теперь она погрубела, но производила впечатление человека, обладающего избытком сил и энергии и не лишенного юмора. «Добрый товарищ» и «настоящая светская женщина», — эти слова, казалось, были написаны в каждой черте ее добродушного, веселого и все еще красивого лица. Это она ответила на вопрос Агаты:

— Конечно, моя милая. Угроза войны — самое лучшее, что может быть для Евстафия. Лорд Гарбинджер кивнул головой в знак согласия и обратился к Агате:

— Между прочим, вы знаете, что Бребрук будет

выступать по поводу войны. Слышали вы его когда-нибудь, леди Агата? Он начинает так:

«Мистер спикер, я встаю, и вместе со мной встает демократический принцип».

Но Агата только улыбнулась на его слова. Она думала в эту минуту:

«Если я позволю Энн поехать на автомобиле до заставы, то завтра она потребует еще чего-нибудь.»

Леди Агата не интересовалась общественными делами. Вся унаследованная ею властность характера обращалась поэтому на домашние дела и выражалась в том, что она до мельчайших подробностей устанавливала домашний порядок и следила за его соблюдением. Это был своего рода культ, страсть, как будто она и в самом деле чувствовала себя воплощением идеи национального домашнего быта и передовым вождем патриотического движения в этом направлении.

Лорд Валлейс, покончив с завтраком, встал:

— Надо что-нибудь передать твоей матери, Гертруда? — спросил он, обращаясь к жене.

— Нет, я писала ей вчера.

— Скажи Мильтоуну, чтобы он обратил внимание на Куртье. Я слышал в прошлый раз, как он говорит. Он — недурной оратор.

Леди Валлейс, даже не присевшая за стол, проводила своего мужа до дверей.

— Кстати, — сказала она. — Я написала матери об этой женщине, Джоф.

— Разве это было так нужно? — спросил он.

— Я думала… меня это все-таки беспокоит. Мать, ведь, имеет некоторое влияние на Мильтоуна.

Лорд Валлейс пожал плечами и, слегка притронувшись к руке жены, вышел. Его тоже немного тревожило то, о чем говорила ему жена, но он, вообще, не любил беспокоить себя ничем и поэтому тщательно избегал думать о чем-нибудь неприятном. Он не принадлежал к числу людей, обладающих чувствительными нервами, и даже могло показаться, что он совсем лишен чувствительности, что, впрочем, часто наблюдается у людей его класса. Он находил, что злободневные вопросы причиняют ему и так достаточно беспокойства, и увеличивать это беспокойство не зачем. Старший сын давно уже являлся для него загадкой, от разрешения которой он отказывался, в особенности в той области, которая касалась женщин.

Выйдя в переднюю, лорд Валлейс на мгновение остановился, вспомнив, что еще не видел своей младшей и любимой дочери.

— Леди Барбара уже встала? — спросил он.

Узнав, что она еще не выходила, он надел плащ, который подал ему дворецкий Симонс, и вышел на крыльцо, украшенное белыми каменными изображениями соколов, эмблемы Карадоков.

Звонкий голосок маленькой Энн, сидевшей в автомобиле, позвал его:

— Иди сюда, дедушка!

Лорд Валлейс невольно состроил гримасу. Слово «дедушка» как-то странно звучало в ушах этого пятидесяти шестилетнего человека, далеко не чувствовавшего себя стариком. Махнув рукой маленькой Энн, он спросил:

— Тебя послали сюда?

— Нет, я сама пришла.

Шум автомобиля прекратил дальнейший разговор.

Лорд Валлейс сам управлял машиной твердой и уверенной рукой, и, хотя неожиданное заседание кабинета, нарушавшее его праздничный отдых, было ему неприятно и даже вызывало некоторое беспокойство, он все же наслаждался поездкой в это раннее летнее утро. Автомобиль быстро и плавно катился по ровной дороге, обсаженной деревьями, и теплый, мягкий ветерок приятно обвевал его. Рядом с ним сидела девочка, мол-

чаливая и притихшая. Ехать в автомобиле было для нее величайшим наслаждением, тем более, что дома это удовольствие ей запрещали. Личико ее выражало величайший восторг, и она только однажды нарушила молчание, когда автомобиль замедлил ход вблизи ворот парка, и у сторожки она увидела маленькую девочку Сузи, дочь сторожа.

— Привет, Сузи! — крикнула ей Энн.

Ответа не последовало, но маленькое, бледное личико Сузи выражало столько смирения и преданности, что даже лорд Валлейс вообще, не наблюдательный от природы, заметил это с чувством некоторого удовлетворения.

«Нет, чтобы не говорили, а наша страна в корне здорова», — почему-то подумал он.

Глава II

Равентэм, у самой границы Ричмондского парка, был загородным домом семьи Кастерлей. Он был выстроен лордом Кастерлей, когда вошло в обыкновение иметь резиденцию где-нибудь на небольшом расстоянии от Вестминстера.

В большой оранжерее, примыкавшей к зале, леди Кастерлей стояла возле куста японских лилий, держа в руке письмо. Это была маленькая, худенькая старушка с восковым лицом и с проницательными, живыми глазами, полуприкрытыми красиво изогнутыми ресницами. Она была в сером платье, цвет которого гармонировал с ее седыми волосами, и казалась маленькой, изящной фигуркой, выточенной из стали. Письмо, которое она читала, было от ее дочери, и как всегда, не отличалось последовательностью. Ход мыслей автора по обыкновению делал постоянные скачки: «Дорогая мама. Джоффрей поедет завтра на своем автомобиле. Он заедет к вам, если будет можно. Эти новые страхи войны захватили и его. Я не поеду в город раньше выборов Мильтоуна. Я не решаюсь оставлять его одно-

го. Он видит свою «незнакомку» каждый день. Этот мистер Куртье, написавший книгу против войны, — немного странно для человека, так отличавшегося на войне не правда ли? — живет здесь в гостинице и ведет усиленную агитацию в пользу радикалов.

Он тоже знаком с ней и надо надеяться, что он знаком с ней даже слишком хорошо. Он — привлекательный человек, с рыжими усами, пожалуй, даже красивый, но сумасбродный. Берти только что приехал. Я хочу заставить его поговорить с Мильтоуном и прозондировать почву. Берти можно довериться: он, действительно, очень хитер. Я должна сознаться, что «незнакомка» очень мила, но про нее абсолютно ничего не известно, кроме того, что она разведена с мужем. Как узнать что-нибудь? От Мильтоуна ничего не добьешься. Серьезность нашего молодого поколения просто поразительна. Я не помню, чтобы у меня были такие серьезные взгляды на жизнь в молодости…».

Прочтя эти строки, леди Кастерлей невольно усмехнулась, смотря на листок почтовой бумаги, украшенный короной. Она еще не забыла молодости своей дочери…

«Я уверена, что Джоффрей и я, мы чувствуем

себя моложе, неужели Мильтоун или Агата, хотя мы и произвели их на свет. К счастью, этого не чувствуешь с Берти или Барбарой. Запугивание войной оказывает прекрасное влияние на продвижение кандидатуры Мильтоуна. Клод Гарбинджер гостит у нас. Он приехал, чтобы агитировать в пользу Мильтоуна, но на самом деле, как мне кажется, он ухаживает за Баб. Пожалуй, это немного рано, когда подумаешь, что Баб еще нет двадцати лет. Но Клод все же может считаться для нее хорошей партией. О нем теперь много говорят. Он выдвигается в первые ряды среди молодых тори…».

Леди Кастерлей во второй раз бросила чтение письма. Она прислушивалась. Странный, заглушенный шум, гиканье и крики доносились откуда-то и, проникнув в стены теплицы, заставили задрожать бледные лепестки лилий, как будто выражавших свои чувства в волнах аромата…

Леди Кастерлей вышла в смежную с теплицей переднюю, где стоял старик слуга с бледным, болезненным лицом и большими белыми бакенбардами.

— Что это за шум, Клифтон?

— Это толпа социалистов, миледи. Они идут в Путней, где устраивается демонстрация.

— Они произносят речи, Клифтон?

— Наверное, городят какую-нибудь чепуху, миледи.

— Я хочу пойти послушать их. Дайте мне мою черную палку.

Над темными, развесистыми кедрами, возвышавшимися по обе стороны дороги, повисла грозная огромная туча, принимавшая местами пурпурный оттенок, а внизу небольшая группа запыленных мужчин и женщин окружала, словно оберегая, какого-то человека, одетого в черный сюртук. Он говорил, и слушатели ободряли его своими возгласами.

Леди Кастерлей со своим мажордомом стояла за железной решеткой в нескольких шагах от этого места и наблюдала происходившее.

Голос оратора то возвышался, то понижался. Он резко протестовал против эксплуатации народа и с выражением едкой иронии говорил о христианстве. Он требовал с жаром, чтобы народ освободили от всевозрастающего бремени «бессмысленных военных налогов», и пригрозил, что народ, наконец, сам возьмет дело в свои руки…

Леди Кастерлей повернула голову к своему мажордому.

«Он говорит вздор Клифтон… Сейчас пойдет

дождь. Надо идти домой».

Под каменным портиком она остановилась. Туча разразилась проливным дождем, заставившим толпу быстро разойтись.

Леди Кастерлей чуть-чуть усмехнулась.

— Это принесет им пользу и умерит их пыл. — сказала она. Но вы вымокнете, Клифтон, зачем вы стоите там? Идите скорее сюда. Я ожидаю к обеду лорда Валлейса. Приготовьте для него комнату, чтобы он мог переодеться. Он едет сюда из Монкленда на своем автомобиле.

Глава III

В высокой просторной комнате, обшитой белыми панелями и почти без всякой отделки, леди Кастерлей встретила своего зятя, лорда Валлейса, который почтительно поцеловал ей руку.

— Я выехал в девять часов. Недурно проехался, — сказал он.

— Я рада видеть вас. Когда будут выборы Мильтоуна?

— Двадцать девятого.

— Жаль. Его надо бы удалить из Монкленда, пока эта незнакомка живет там.

— Вы уже слышали о ней?

Меди Кастерлей резко возразила:

— Вы слишком снисходительны, Джоффрей.

Лорд Валлейс улыбнулся:

— Эти толки о войне начинают надоедать. Трудно сказать, что действительно думает страна по этому поводу…

Леди Кастерлей встала со своего места.

— Она ровно ничего не думает в данную минуту, а когда будет война, то и чувства будут такие, как нужно. Всегда так бывает… Теперь дайте мне

вашу руку. Вы голодны?.. Когда лорд Валлейс говорил о войне, то тон его речей был такой, какой бывает у людей, вращающихся в кругу тех, кто управляет судьбами государства. Насквозь пропитанный предрассудками и взглядами своего класса, он не мог разделять чувства и видеть глазами тех, кто находится за его пределами. Но, как человек положительный и здравомыслящий, он все же не избегал соприкосновения с мнением простых граждан и совершенно искренне говорил, что ему лучше известно, чего желает народ, чем тем, кто много болтает по этому поводу. В политике он отличался отсутствием воображения и большой практичностью. Он хотел быть действующей силой, но не слишком усердствовать и не стремиться к тому, чтобы доводить идеи до их логического заключения. Он не проявлял ни узости взглядов, ни пуританства, пока соблюдались внешние формы, и даже был либеральным лендлордом, пока это серьезно не угрожало его собственным интересам. Он доброжелательно относился к искусствам, пока эти искусства не выходили из пределов того, что ему хорошо было известно. Он считал своей обязанностью иметь твердый взгляд, железные нервы и обращение, свободное от всякой чопорности.

От природы он был покладистым супругом, снисходительным отцом и в политике известен был своей прямотой. Он любил удовольствия, любил свою работу и упражнения на свежем воздухе. Он восхищался своей женой, любил ее и никогда не раскаивался в своем браке. Впрочем, он, вообще, ни в чем не раскаивался и ни о чем не сожалел, разве только о том, что до сих пор еще не взял приза на скачках в Дерби, или что ему не удалось развести абсолютно чистой породы пойнтеров, о которой он мечтал.

Свою тещу он уважал, как уважают принцип. В этой маленькой старушке чувствовалась накопленная сила многих поколений, унаследованная уверенность тех, чей престиж никогда не подвергался сомнениям, и кто благодаря долгой безнаказанности и привычке повелевать даже не допускал возможности таких сомнений. Вынужденная необходимостью, как и все люди ее класса, быть осведомленной в общественных делах, вооруженная традициями культуры столь необходимой для тех, кто управляет, всегда вдохновляемая одними и теми же идеями, леди Кастерлей, к тому же, обладала умом, столь же острым, как и грозные мечи ее предков Фин-Гарольдов, сражавшихся при Аженкуре или при

Пуатье. Она инстинктивно противилась всякому анализу, самоуглублению и познаванию самого себя и других, так как находила, что подобного рода действия подрывают авторитет.

Если можно было назвать лорда Валлейса остовом аристократической машины, то леди Кастерлей была ее пружиной. Жизнь ее была очень проста, привычки очень умеренны; она вставала рано, целый день что-нибудь делала, и в семьдесят восемь лет была так же бодра, как большинство женщин в пятьдесят. У нее был только один слабый пункт, но в этом заключалась и ее сила, — она обманывалась насчет значения, занимаемого ею места в мировой системе. Но поэтому-то она и была типичной представительницей своего класса и была своего рода силой.

Убранство столовой, куда она вошла под руку с лордом Валлейсом, как нельзя более гармонировало с ее наружностью. Серые стены, украшенные фризами и живописью в стиле Фрагонара, эти нимфы и розы, побледневшие от времени, старинная мебель, пережиток давно прошедшей эпохи, — все это была рамка, подходящая для такой женщины, как леди Кастерлей. На столах не было обычных букетов цветов, и только пять лилий красовались в старинном серебряном

кубке. На стене, над большим буфетом, висел портрет покойного лорда Кастерлей.

Леди Кастерлей заговорила первая.

— Я надеюсь, Мильтоун наметил уже линию своего поведения.

— В том то и беда! Он страдает чрезмерным обилием принципов. Надо пожелать только, чтобы он их оставил в стороне в своих речах.

— Постарайтесь удалить его от этой женщины, как только выборы пройдут. Как ее настоящее имя?

— Кажется, миссис… Линс Ноэль, или что-то в этом роде.

— Как давно она живет там?

— Должно быть около года.

— И вы ничего не знаете о ней?..

Лорд Валлейс пожал плечами.

— Вижу, — воскликнула леди Кастерлей. — Вы предоставили дело собственному течению… Я поеду сама. Я думаю, Гертруда может поместить меня… Какое отношение имеет мистер Куртье к этой милой особе?

Лорд Валлейс улыбнулся и в этой улыбке выразилась вся его учтивая и удобная философия. Как будто он хотел сказать: «Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела.»

— Он — подстрекатель, — продолжала леди Кастерлей, несколько задетая за живое улыбкой лорда Валлейса. — Я читала эту… его книгу против войны. Очень сильная вещь.

И я только что видела ее результаты, — за оградой моего парка видела толпу агитаторов против войны…

Лорд Валлейс подавил зевок.

— В самом деле? Я не думал, что Куртье имеет такое влияние.

— Он опасный человек.

— Я бы искренно желал, чтобы эти запугивания войной прекратились, — пробормотал лорд Валлейс. — В конце концов, это становится глупым…

Леди Кастерлей подняла свой стакан, наполненный красным вином, и сказала:

— Война спасла бы нас.

— Война не шутка.

— Но она может послужить началом лучшего положения вещей.

— Вы думаете?

— Конечно. Мы снова заняли бы руководящее место, а демократия отодвинулась бы назад на пять-десять лет.

Лорд Валлейс, слегка приподняв брови, точно он сам удивлялся тому, что хотел сказать, прого-

ворил вполголоса:

— В сущности, я бы должен был сказать, что мы все демократы… Что нужно, Клифтон?

— Ваш шофер спрашивает, когда вы поедете? — ответил слуга.

— Сейчас после обеда.

Спустя двадцать минут он уже выезжал на дорогу в Лондон через железные ворота парка. Стало совсем темно, так как небо покрылось тучами, и в воздухе запахло дождем. Но автомобиль быстро и плавно подвигался вперед, освещая дорогу фонарями. Только на Путнейском мосту он должен был замедлить ход из-за вереницы фургонов. Лорд Валлейс смотрел направо и налево. В реке отражались тысячи огней от освещенных зданий на ее берегах и фонарей на набережной и на баржах. Но извилистая, бледная полоса воды, вечно текущей к морю, не вызывала в уме лорда Валлейса никаких символических представлений.

Ему пришлось иметь дело с этой рекой несколько лет тому назад, когда он был в министерстве промышленности и торговли, и он помнил только одно, что она очень грязна, очень узка и мелка именно там, где ей следовало бы быть широкой и глубокой… Автомобиль теперь ехал по длинной

дороге, ведущей в самый центр фешенебельных кварталов Лондона. Движение было большое. Снаружи книжных лавок были расклеены объявления вечерних газет мало успокоительного характера:

Заговор подтверждается.
Новые разоблачения.
Угрожает опасность.

Около каждого такого объявления всегда останавливались прохожие. Группы сходились и расходились. Лорд Валлейс видел это и задавался вопросом: что думают все эти люди, читая такие вещи? Как они относятся к угрожающей опасности? Лица их, однако, ничего не выражали — ни желаний, ни энтузиазма, ни даже страха. Бедняги! Но, ведь это дело было вне их власти. Они также мало могли помешать этому, как и муравьи, которые хотели бы воспрепятствовать разрушению своего муравейника каким-нибудь проходящим мимо шалуном. Это правда, что народ почти не имеет голоса В вопросах о войне. И лорду Валлейсу припомнились слова одной радикальной еженедельной газеты, которую он, как беспристрастный человек, всегда заставлял себя читать.

«Несведущий и загипнотизированный словами: «страна», «патриотизм», находящийся во власти врожденного предубеждения против иностранцев, беспомощный вследствие своего терпения; стоицизма, чистосердечной веры и доверия к тем, кто находится над ним, а также в силу своего преклонения перед ними вследствие своей беспечности, взаимного недоверия и отсутствия общественного духа, — как жалок и бессилен человек улицы, когда перед ним выдвигается грозный призрак войны!..»

«Конечно, в этих словах много преувеличений, — думал лорд Валлейс, — но все же с некоторыми положениями этой радикальной газеты нельзя не согласиться.»

Тут мысли его сделали скачок. Он вспомнил о своей новой лошади, на которую возлагал столько надежд, но тотчас же, словно устыдившись, вернулся к прежней теме, к вопросу о войне и к сомнениям насчет того, принимаются-ли во внимание все возможности. Он сам занимал в правительстве один из тех спокойных, почти номинальных постов, которые обыкновенно предоставляются таким лицам, присутствие которых в кабинете признается желательным и полезным, если для них не находится в ту минуту

более ответственного поста.

Мысли лорда Валлейса снова сделали скачок и вернулись к леди Кастерлей.

«Что за удивительная старуха! Какой из нее вышел бы государственный деятель! Положим, немного слишком реакционный. И как она пошла прямо к цели относительной этой миссис Линс Ноэль. Он видел ее только раз утром, когда она проезжала мимо. Нельзя отрицать ее привлекательности. Изящная головка, с черными волнистыми волосами, завернутыми узлом на затылке… Одета хорошо…, наверное, у нее есть какая-нибудь история, но это не его дело. Он всегда жалеет таких женщин.»

Отряд пехотинцев, шедших ему навстречу, заставил его остановиться. Он высунулся из автомобиля и рассматривал проходивших мимо него солдат таким же холодно сдержанным, проницательным и критическим взглядом, каким бы он рассматривал свору охотничьих собак. Вид их отвлек его мысли в другую сторону.

«Недурной подбор людей, — думал он, глядя на их раскрасневшиеся от долгой ходьбы лица, выражавшие пассивность и своего рода самодовольство. — Уж они-то, конечно не смущаются разными отвлеченными сомнениями и кровавы-

ми призраками войны…»

Кто-то крикнул:

— Ура, пехотинцы!

Лорд Валлейс увидел около себя несколько шапок, которые раскачивались в воздухе, и услышал громкий, пронзительный возглас, перешедший скоро в хриплый гул множества голосов.

«Хорошо, — подумал он. — Агитация, видно, мало действует. В стране еще много воинственного духа…»

И снова дрожь удовольствия охватила его при этой мысли…

Когда последний солдат прошел мимо него, он дал ход автомобилю, медленно прокладывавшему дорогу в толпе, двигающейся за полком. Тут были люди всех возрастов, мальчики и старики, несколько женщин и молодых девушек. Давая дорогу автомобилю, они небрежно взглядывали на сидевшего в нем человека, по-видимому, нисколько им не интересуясь, как будто между ними лежала целая пропасть, мешающая им понимать и интересоваться друг другом.

Глава IV

В Монкленде как раз в этот же самый час в маленькой, выбеленной известью уединенной комнате тоже маленького коттеджа с соломенной крышей сидели у камина двое мужчин и разговаривали. Между ними на низеньком кресле сидела темноволосая и темноглазая женщина. Откинувшись на спинку кресла, она смотрела на огонь. По временам какое-нибудь обгоревшее полено падало вниз, и огонь, вспыхивая сильнее, озарял ярким светом уютную комнату и ее простое убранство, наполняя ее теплом и светом.

Из открытых окон сада, вместе с запахом цветов, залетали в комнату маленькие, серебристые мотыльки, которые кружились около букета красных роз, стоящего в зеленой фарфоровой вазе и весь этот старенький, беленький коттедж с соломенной крышей, утонувший в зелени, казалось, был пропитан ароматом леса, цветущей травы и шиповника.

Мужчина, сидевший слева от камина, был средних лет и производил впечатление сильного, крепкого и здорового человека, с лицом сангви-

ника, вспыхивающим при малейшем поводе. У него были голубые глаза и светлые, почти рыжие волосы. Его пышные усы топорщились и придавали его лицу несколько вызывающее, дерзкое выражение.

Тот, который сидел справа, казался моложе. Он был высок ростом и очень тонок. Он сидел, согнувшись в маленьком кресле, обвив руками колени и тоже смотрел на огонь. На его худом, гладко выбритом лице блуждала улыбка, а глубоко сидящие, очень живые глаза слегка блестели и казались красивыми.

Эти два человека, так удивительно непохожие, сошлись здесь, по-видимому, на нейтральной почве. Они взглядывали друг на друга, точно два враждующих пса, понимающих, однако, что здесь они не могут вцепиться друг в друга. А женщина, сидевшая между ними, не спускала глаз с обоих, точно и в самом деле опасалась столкновения.

— Итак, мистер Куртье, — проговорил молодой человек сухим, ироническим тоном, который так же, как и его холодная усмешка, скрывал горячность его натуры, — все, что вы говорили до сих пор, сводится лишь к защите так называемого либерального принципа, как вы сами видите. Извините же мою наивность, но мне кажется, что,

так как этот принцип является лишь продуктом философских умозаключений, то он оказывается несостоятельным, как только вопрос переходит на почву практических дел.

Мужчина с рыжими усами иронически рассмеялся.

— Великолепно. И я ничуть не опровергаю этого. Но, ведь, сущность всякой политики составляет компромисс, и такие верховные жрецы своей касты и идеи власти, как вы, лорд Мильтоун, так же мало способны на компромисс, как и любой проповедник либеральной идеи.

— Я не согласен.

— Согласны вы или нет, это — все равно, но ваше отношение к общественным делам напоминает отношение церкви к вопросу о браке и разводе; церковь столь же далека от действительной жизни в этом вопросе, как и проповедник свободной любви, поэтому она не соприкасается с действительностью.

Смертный приговор вашей точке зрения заложен в ней самой, в ее чрезмерной жестокости и отдаленности от вещей, чтобы понимать их. А если вы не понимаете, то вы не можете управлять. Вы можете с такой же пользой сидеть, заложив руки в карманы, как и заниматься политикой,

имея такие взгляды.

— Я думаю, что мы никогда не сойдемся с вами.

— Может быть... Допускаю, что я делаю вам слишком большой комплимент. Но, во всяком случае, вы — патриций.

Темноволосая и темноглазая женщина вздрогнула и подняла руки, точно она хотела предупредить дальнейший обмен резкостей.

Рыжий человек встал и почтительно заметил:

— Мы утомляем своими спорами миссис Ноэль. Спокойной ночи, Одри. Мне уже давно пора уходить.

Подойди к стеклянной двери, открывающейся в сад, он не мог удержаться, чтобы на прощание не нанести еще одного удара своему противнику. Стоя на пороге, он проговорил:

— Я хотел сказать вам, лорд Мильтон, что ваш класс, это — самый отсталый, самый жесткий и вредный класс в государстве, и будет по меньшей мере удивительно, если он не отучит вас от поэтических мечтаний. Прощайте.

С этими словами он спрыгнул на лужайку и исчез в темноте.

Молодой человек сидел неподвижно. Вдруг свет от огня, вспыхнувшего в камине, озарил его

лицо и заиграл на его губах. Он поднял голову и проговорил:

— Вы верите этому, миссис Ноэль?

Одри Ноэль улыбнулась, затем встала и подошла к окну.

— Посмотрите-ка на мою миленькую ящерицу, сказала она. — Она каждый вечер является сюда.

На подоконнике, как раз в круге света, падавшего от лампы, сидела маленькая золотистая ящерица. Но, как только Мильтоун подошел к окну, она быстро шмыгнула в сторону и исчезла.

— Как тихо и мирно в вашем саду, — сказал Мильтоун и, нежно взяв руку миссис Ноэль, бережно поднес ее к своим губам и затем медленно подошел к двери.

Через несколько минут он скрылся в темноте, как и его противник.

В саду было тихо. Нигде не слышно было ни звука, не видно было огней. Казалось, все в природе отдыхало. Ночь как будто прислушивалась к биению сердца молодой женщины, стоявшей у окна и смотревшей на небо, в темной оправе которого сверкали звезды. Деревья точно заснули и стояли темные и неподвижные. Ни один лист не шевелился на них. Не слышно было птиц, и только тихое журчанье ручейка доносилось

откуда-то издали…

Какими ничтожными и детскими казались все споры перед этим величием ночного безмолвия! Мир и спокойствие воцарилось кругом. Но женщина, прислонившаяся к двери, как будто не чувствовала этого. Ее руки дрожали и щеки пылали огнем, а с полуоткрытых губ сорвался не то вздох, не то стон…

Глава V

Евстафий Карадок, виконт Мильтоун, вел очень уединенную жизнь с тех пор, как начал сознательно относиться ко всем особенностям человеческого существования. Кроме Клифтона, мажордома его бабушки, у него не было в детстве никаких близких друзей. Все его няньки, гувернантки, учителя, по их собственному признанию, не понимали его и находили, что у него какой-то не по годам серьезный взгляд на вещи. Он даже пугал своих воспитателей своей скрытностью и способностью молча переносить всякое огорчение и даже страдание. Он был, однако, любимцем леди Кастерлей и поэтому проводил много времени в Равентэме. Ей нравились сдержанность и серьезность мальчика, — качества, которых недоставало ее дочери.

Но юный Евстафий открывал свою душу только одному Клифтону, пятидесятилетнему человеку, с длинными черными бакенбардами с проседью, всегда державшему себя очень степенно. Часто сидя на буфете или на ручке огромного кресла в комнате Клифтона, мальчик говорил ему:

— Я рассказываю вам об этом, Клифтон, потому что считаю вас своим другом.

И Клифтон, склонив голову немного на бок и слушая с серьезным видом подчас довольно сбивчивые рассказы мальчика и его признания, отвечал неизменно:

— Конечно, милорд, — но еще чаще он говорил — Конечно, мой дорогой.

Было в этой дружбе что-то удивительно красивое и трогательное, потому что ни с той ни с другой стороны она никогда не переходила в пошлую фамильярность, сохраняя в то же время оттенок взаимного доверия и уважения.

С течением времени, следуя семейным традициям, Евстафий был отправлен в Гарроу. В этой школе он пробыл пять лет, но и там остался одиноким среди товарищей. Он не делал блестящих успехов в латыни и греческом языке, но свой родной язык изучил хорошо и под конец своего пребывания в школе поразил всех своим умением писать сочинения и произносить речи. Школу он оставил без особенного сожаления. Но, когда он, сидя уже в поезде, издали увидел холм, покрытый деревьями, среди которых виделось старинное здание школы, то ему вдруг стало грустно, и, когда холм этот постепенно исчез из

вида, то словно какой-то клубок подступил ему к горлу, и он забился в угол вагона, чтобы никто не заметил его волнения.

В Оксфорде он чувствовал себя счастливым, но сравнительно был тоже одинок. Именно там он развил себе способность к труду и дисциплинировал свою волю. Несмотря на то, что он плохо знал греческий и латынь и не любил эти предметы, он заставил себя заниматься ими и даже получил ученую степень. В студенческой жизни он почти не участвовал — редко показывался где-нибудь. Однако, он был все же известен, потому что обратил на себя внимание своею первой речью, сказанною в студенческом клубе «Union» во время дебатов о цензуре. Он выступил горячим защитником цензуры и, пожалуй, одержал бы даже победу, если бы не выступил с возражением один ирландец и не указал на опасность, грозящую в таком случае старому завету.

— Лучше такой риск, чем отсутствие всякого риска, — отвечал Мильтоун и с этой минуты приобрел известность среди оксфордцев.

Он пробыл четыре года в Оксфорде и, когда покинул его, то испытал такое чувство как будто лишился чего-то в жизни. В Оксфорде о нем составилось мнение как «о чудаке, который покажет

себя со временем».

Как раз около этого времени у него произошел разговор с отцом очень характерный для обоих. Разговор этот происходил в библиотеке Монкленд Коурта в один ноябрьский вечер.

Высокая обширная комната была освещена огнем камина и восемью свечами, горевшими в тонких серебряных канделябрах, стоявших на каминной доске, украшенной резьбой. Над камином висел большой портрет кардинала Карадока, того самого, который пострадал в шестнадцатом веке за свою веру. Его аскетическое, истощенное лицо, с тонкой улыбкой на устах, взирало с высоты на сидящих в комнате лорда Валлейса и его сына, точно прислушиваясь к их разговору.

Отец и сын, вообще, виделись редко, а до этого разговора они даже довольно долго не виделись друг с другом; поэтому они не знали с чего начать. Наконец, лорд Валлейс первый прервал молчание:

— Ну, мой друг, что же ты теперь намерен делать? Я думаю, что тебе обеспечено место в парламенте, если ты захочешь выступить на выборах.

Да, — отвечал Мильтоун. — Но пока я еще не намерен вступать в парламент.

Лорд Валлейс с любопытством наблюдал сквозь тонкую струю сигарного дыма тощую, длинную фигуру сына, сидевшего напротив.

— Отчего? — наконец, спросил лорд Валлейс. — Может быть, ты думаешь, что должен раньше совершить кругосветное путешествие?

— Прежде, чем сам вступлю в него! — отвечал Мильтоун.

Лорд Валлейс насмешливо улыбнулся.

— В политике нет ничего, с чем бы ты не мог совладать сам, без чужой помощи, — заметил лорд Валлейс. — Сколько же тебе лет?

— Двадцать четыре.

— Ты выглядишь старше.

Глаза лорда Валлейса пытливо устремились на сына. Может быть, ему только показалось, что по лицу Мильтоуна скользнула усмешка.

— Может быть, моя теория покажется вам нелепой, — проговорил Мильтоун, — но я нахожу, что прежде надо хорошенько ознакомиться с условиями современной жизни. Я намерен посвятить этому пять лет.

— Потеря времени, — возразил лорд Валлейс, поднимая брови. — Ты гораздо больше будешь знать через пять лет, если теперь же вступишь в парламент. Ты чересчур серьезно относишься

к делу.

— Без сомнения.

Несколько минут лорд Валлейс не находил ответа. Он был сбит с толку. Наконец, он сказал:

— Впрочем, как хочешь, голубчик.

Мильтоун готовил себя к политической деятельности в течение пяти лет не только во владениях своего отца, но и в лондонских трущобах, и в камерах судей. Он объездил Германию, Америку и британские колонии. Он читал много, но медленно и с одинаковым упорством как поэзию, так и труды по философии и социологии, по религии и истории. Но беллетристику, особенно иностранную, он не очень ценил. Страстно желал расширить свой кругозор и быть беспристрастным, он, однако, усваивал лишь то, что отвечало требованиям его натуры. Он бессознательно отбрасывал все, что противоречило его коренным убеждениям, вытекающим непосредственно из самых свойств его характера. Пренебрегая вульгарным блеском богатства и ранга, он в то же время был глубоко убежден в своей способности руководить, в своем духовном превосходстве над теми, кого он хотел облагодетельствовать своей политической деятельностью. Он не был лишен ума, но совершенно лишен был способ-

ности заглядывать внутрь себя и видеть то, что скрыто от взоров. Он видел прямые линии даже там, где был круг, и совершенно не замечал, что вселенная также состоит из двух символов, точка примирения которых еще не найдена. Таков был Мильтоун, когда депутат его родного округа был сделан пэром, и место его в парламенте стало вакантным.

Мильтоуну тогда уже минуло тридцать лет. Он никогда не был влюблен и вел абсолютно целомудренную жизнь, один только раз нарушив ее. Женщины боялись его, да, пожалуй, и он немного побаивался их. В теории женщина казалась ему привлекательной и желанной, на практике же она либо скоро надоедала, либо становилась грубой и неприятной. Он питал некоторую привязанность к своей младшей сестре Барбаре, но никогда не был близок со своею матерью, бабушкой или старшей сестрой Агатой.

Было даже странно видеть леди Валлейс с ее первенцем. Она отличалась экспансивностью, веселостью и общительностью, и ее сильная и здоровая натура нуждалась в постоянном обществе и откровенности. Но Мильтоун никогда не удостаивал ее своим доверием; даже когда был ребенком, он никогда не был откровенен с ней. Она,

впрочем, не сердилась на него за это. Он всегда был странный мальчик — и больше ничего. Однако, ничто так не смущало ее, как его поведение с женщинами. Она находила это ненормальным и противопоставляла ему «нормальность» своего младшего сына и мужа. Именно это чувство и заставило ее так близко принять к сердцу его дружбу с «незнакомкой» и увидеть в этой дружбе опасность.

Знакомство Мильтоуна с миссис Ноэль произошло совершенно случайно. Как-то в декабре он поехал на ферму, где только что умер арендатор. Вдова встретила Мильтоуна в состоянии полнейшей растерянности. Мильтоун постарался успокоить ее насчет аренды, и, когда уже выходил, то в воротах встретился с какой-то дамой в меховой жакетке и шапочке, державшей на руках маленького плачущего мальчика, до крови разбившего себе лоб. Мильтоун взял ребенка на руки и пытался успокоить его. Он, однако, заметил, что незнакомка была очень мила. Выражение лица у нее было серьезное и кроткое. Он узнал ее имя: Одри Линс Ноэль, и после этой встречи ее красивое лицо постоянно вспоминалось ему.

Спустя несколько дней он снова увидел ее. Она шла по деревне и остановилась у калитки одного

коттеджа. Тогда он подошел к ней и спросил, не надо ли исправить крышу коттеджа? За этим последовал осмотр крыши, и они довольно долго, разговаривая, простояли у калитки. До сих пор он всегда вращался среди женщин своего круга, привыкших смотреть на себя, как на привилегированные создания. Миссис Ноэль была совсем другая. Она, очевидно, жила в уединении, вне светской жизни, и ее кротость и застенчивость производила чарующее впечатление на Мильтоуна. И вот благодаря случайности между этими двумя одинокими людьми возникла и быстро развилась дружба, подобно редкому, благоухающему цветку, выросшему, не сообразуясь с условиями местности и почвы. И эта дружба в короткий промежуток времени заполнила огромное пространство двух жизней.

Однажды она спросила его:

— Я думаю, вы слышали обо мне?

Мильтоун кивнул головой. Он, действительно слышал о ней от викария.

— Да… мне говорили.

— Но история довольно печальна, — сказал ему викарий. — Развод…

— То есть, она развелась или?..

Несколько мгновений викарий как будто коле-

бался, затем ответил:

— О, нет… нет! Я уверен, что не она виновна. Прекрасная женщина, насколько я мог судить. Только она, кажется, не принадлежит к моей конгрегации…

Мильтоун удовольствовался этим. Когда она спросила его, знает ли он ее историю, то он ответил, что знает, потому что ни за что на свете не мог бы допустить ее снова вспоминать свое прошлое, что, разумеется причинило бы ей страдание. Какова бы ни была ее история, но она сама, наверное, не была достойна осуждения. И Мильтоун бессознательно представлял ее себе такою, какою, он хотел, чтобы она была. В ней он уже видел не обыкновенное человеческое существо, а воплощение своего идеала…

Через три дня после своей стычки с Куртье он снова сидел в маленьком белом коттедже, скрывавшемся за высокими стенами сада. Здесь все дышало уединением. Потонувший среди роз и зелени, окружавшей его со всех сторон, маленький домик со своими большими окнами и крыльцом старинного фасона казался как бы отрезанным от мира.

Мильтоун нашел миссис Ноэль за перешиванием какого-то платья. Она сидела, нагнувшись над

работой, со свойственной ей грацией, но встала сейчас же, как только увидела его.

Он пришел к ней после целого дня утомительной предвыборной работы, после двух митингов, на которых ему порядочно-таки досталось, и чувствовал себя измученным и печальным. Смотреть на нее всегда было для него наслаждением, но никогда еще ее ласковое внимание и ее присутствие не действовали на него так успокоительно, как в данную минуту.

Растянувшись в удобном кресле, он слушал, как она играла на рояле. Над холмами, вдали, медленно всплывала луна, и точно какой-то прозрачный, серебристый туман окутывал все деревья в долине, сгущаясь книзу в настоящее белое покрывало. Наконец, луна показалась за большим развесистым липовым деревом выглядывая из-за его ветвей, и казалось, будто огромный светлый шар повис на темно-синем небе.

Мильтоун наблюдал игру света и теней и слушал музыку, чувствуя, как постепенно спокойствие снисходит в его душу.

Вдруг какие-то крики и пронзительное гиканье, доносившиеся издалека, нарушили гармонию музыки. Крики то замирали вдали, то опять возобновлялись…

Мильтоун встал.

— Очарование нарушено, — сказал он. — Миссис Ноэль, мне бы хотелось высказать вам то, что у меня на душе…

Она прекратила игру и, опустив руки на клавиши, сидела неподвижно, словно прислушиваясь к чему-то. Он смотрел на нее с глубоким и безмолвным обожанием.

В дверях раздался чей-то испуганный голос:

— О сударыня!.. О, милорд!.. Они напали на джентльмена там, на лугу.

Глава VI

Чарльз Куртье всегда изумлял своим поведением соотечественников. Они не решались смеяться над ним только потому, что про храбрость его и подвиги рассказывали чудеса. Говорили также, что он убил нескольких мужчин и любил многих женщин. Куртье был сыном одного оксфордского священника и с восемнадцати лет скитался по свету. Постоянное странствование стало также естественно для него, как для других сидение в какой-нибудь канцелярии. Он, однако, не извлек никакой существенной выгоды из своих странствований, не нажил капитала, от того что его темперамент соответствовал цвету его волос, который многие сравнивали с пламенем, пожирающим все. Его недостатки были явны для всех.

Он был неизлечимый оптимист и пламенный поклонник красоты, так что порою забывал, которую из женщин он любил больше. Сердце у него было горячее, он ненавидел хвастовство и обман и обыкновенно пренебрегал собственными интересами.

Он не был женат, имел много друзей и столько

же врагов. Сам он был тверд, как сталь, но душа у него была раскалена до бела.

Пожалуй, можно было назвать непоследовательным то, что он добровольно принимавший участие в пяти войнах, теперь впутался в избирательную агитацию на дополнительных выборах в парламент только для того, чтобы служить делу мира. Но это была непоследовательность только кажущаяся. Он всегда боролся за слабейшую сторону, а именно таким проигрышным делом казалось ему теперь дело мира. Он не был ни великим политиком, ни оратором, но пламенный взгляд его глаз, подкрепляемый спокойною язвительностью его речей, всегда производил впечатление на слушателей. Вряд ли можно было найти другой уголок в Англии, где бы речи по поводу мира могли найти так мало сочувствия, как в этом округе. Мало было сказать, что Куртье был не популярен среди населения округа Бекланд-бюри, весьма положительного и деловитого, но отличавшегося тупостью и упорством.

Куртье вооружил жителей этого округа против себя тем, что попирал их укоренившиеся взгляды и вызвал их подозрительность. Они никак не могли понять, что он за человек. Хотя в Лондоне он был хорошо известен, так как его похождения

и его книга: «Мир — погибшее дело» вызывало много толков в обществе, но в сельском округе, конечно, о нем не слыхали. А его вмешательство в дополнительные выборы казалось только лишним примером того, что он любит совать нос не в свое дело. Ведь, все знают, что нации могли бы и должны были бы жить в мире, но, ведь, также не подлежит сомнению факт, что этого никогда не бывает.

В Монкленде, почти сплошь представляющем владение Карадоков, конечно, нашлось очень мало людей, поддерживавших Куртье. Сначала проповедник мира возбудил только любопытство и насмешки, но вскоре эти насмешки перешли в угрозы; когда же поведение Куртье сделалось вызывающим, а речи его чересчур пламенными, то лишь своевременное вмешательство викария помешало слушателям расправиться с ним. Между тем, эти люди привлекали его к себе с непреодолимою силой. Они казались ему солидными и независимыми. Ожидая своей очереди говорить на митинге, он наблюдал аудиторию. Хотя Куртье знал, что против непопулярной идеи всегда есть большинство, но он не мог поверить, чтобы эти люди с открытыми, честными лицами и, по-видимому, независимым суждением могли

быть увлечены воинственными идеями.

— Это невозможно, — говорил он себе, но ему снова пришлось разочароваться.

Он, конечно, пошел напролом, но, чем горячее становилась его речь, тем сильнее возмущалась его аудитория. Они разошлись, не поняв друг друга, но слушатели не простили ему попрания своих закоснелых идей.

Куртье жил в маленькой деревенской гостинице, в которой была только одна комната в мезонине для приезжающих, и другая внизу, нечто вроде гостиной, где Куртье обыкновенно обедал. Нижний этаж дома состоял лишь из одной большой комнаты с деревянными столами и скамьями. Эта была таверна, где днем и ночью толпился народ и раздавались громкие голоса местных жителей.

Порою в дверях показывалась фигура, нетвердо стоящая на ногах, и останавливалась на некоторое время, прислонившись к двери, чтобы закурить трубку, затем медленно и шатаясь исчезала в темноте. Но в этот вечер из гостиницы вышло несколько человек и к ним тотчас же присоединились другие, дожидавшиеся на лугу. Крадучись, они обошли кругом гостиницы, освещенной бледным светом луны, и остановились

против единственного окна, где горела лампа и откуда к ним доносился голос человека, по-видимому, что-то читавшего вслух.

Подкравшиеся к окну люди злорадно хихикали и шептались, указывая на окно:

«Негодяй упражняется в своих речах…» — сказал кто-то в полголоса.

«Выкури-ка старую лисицу оттуда!» — послышался шепот.

«Красный перец лучшее средство.»

«Смотри… чихает… Мы задвинули засов двери… Ему не уйти!..»

В освещенном окне показалось чье-то лицо, и затем в группе людей, стоящей внизу, раздался взрыв грубого смеха.

В окне какой-то человек напрягал все силы, чтобы отодвинуть засов. Хохот внизу перешел в настоящий рев. Наконец, пленник вырвался на свободу и соскочил на землю из окна. Он поднялся, отбиваясь от набросившихся на него людей, зашатался и снова упал. Чей-то громкий голос крикнул:

— Это что такое?

Послышался испуганный шепот; и нападавшие быстро рассеялись. На лужайке под деревьями остались только двое: высокая, темная фигура

мужчины и рядом с ней тонкая, белая женская фигура.

— Это вы, мистер Куртье? Вы ушиблись?

Человек, сидящий на земле, попытался приподняться.

— Ничего… Только мое колено… Бродяги! Они чуть не убили меня…

Глава VII

В этот же вечер Берти Карадок, выйдя из курительной комнаты Монкленд Коурта и отправляясь спать, прошел по обыкновению в Георгиевский коридор, чтобы взглянуть на свой любимый барометр. Это вошло у него в привычку, и ежедневно перед сном он справлялся о погоде, так как все свое время зимой он тратил на охоту, а летом на скачки.

Молодой Губерт Карадок или Берти, как его называли в семье, был причислен к дипломатическому ведомству. В нем более, чем в ком либо другом из членов семьи, воплотились все ее качества и недостатки. Он был высок ростом, крепкого телосложения, с черными, гладкими волосами и правильными, но мелкими чертами лица, скрывавшего под маской равнодушия живость и решительность характера.

Это был умный, практичный и осторожный человек, умевший владеть собой и относящийся к жизни как к своей верховой лошади, которой он давал свободу лишь настолько, насколько это было нужно, чтобы никогда не терять над

нею власть. Идеи не имели для него никакого значения, если только они не были связаны с непосредственным действием.

Приличный и вежливый по натуре, он требовал того же от других, но в тоже время всегда готов был нанести удар если ему казалось, что это нужно. Он был способен выказать стоицизм, когда это считал необходимым, и мог прощать только такие проступки и сочувствовать только таким страданиям, которые были известны ему по собственному опыту. Таков был младший брат Мильтоуна, в возрасте двадцати шести лет.

Увидев, к своему удовольствию, что барометр стоит высоко, он уже собрался идти к себе наверх, как вдруг заметил в конце коридора, у входа в переднюю, какие-то три мужские фигуры, идущие под руку. Это возбудило его любопытство. Когда фигуры вошли в круг света электрической лампы, то он увидал, что это был его брат Мильтоун и лакей, поддерживавшие под руки какого-то хромого человека.

Берти тотчас же поспешил к ним.

— Вы вывихнули себе ногу сэр? — спросил он. — Подождите минутку… Чарльз, принесите скорее стул.

Усадив незнакомца на стул, Берти завернул

ему брюки и пощупал колено своими ловкими пальцами. В его движениях была какая-то ласковость, и его рука, привыкшая ощупывать суставы и сухожилия бесчисленного множества лошадей, очень умело и в тоже время нежно притрагивалась к больному колену.

— Гм, — сказал он. — Можете вы выдержать небольшую встряску? Ну ка подержи его сзади, Евстафий. Чарльз, садитесь на пол и крепко держите ножки стула, чтобы они не разъехались. Хорошо…

И, взяв руками больную ногу, он сильно дернул ее. Послышался такой звук, будто кто-то скрипнул зубами.

— Ну, приятель, мне не придется посылать за костоправом на этот раз — весело проговорил Берти.

Проводив своего неожиданного гостя в комнату в этом же коридоре, которую быстро превратили в спальню, оба брата оставили его на попечении слуги, а сами отправились в свои комнаты.

— Счастливо, дружище. — Сказал Берти Мильтоуну. — Он теперь расписался в получении, и уже больше не станет вредить тебе. Однако, я его хорошо дернул…

Известие о том, что Куртье находится в доме,

распространилось в семье еще до утреннего завтрака через того из членов, кто имел привычку всегда все разузнавать и сообщать другим.

Маленькая Энн, явившись со своим обычным утренним визитом к матери, держась ручками за свой широкий пояс и подняв кверху свой задорный носик, поспешила сообщить ей новость:

— Дядя Евстафий привел вечером человека с вывихнутой ногой, и дядя Берти вправил ее. Вилльям говорит, что ему рассказывал Чарльз он сделал это.

И маленькая Энн заскрипела своими зубками.

— Этот человек живет в гостинице и Вилльям говорит, что лестница там слишком узка, чтобы внести его наверх. А если его колено опять сойдет с места, то он уже не в состоянии будет ходить иначе, как с палкой, в течение долгого времени… Могу я теперь к папе?

Агата в это время причесывалась и думала:

— Не знаю, хорошо ли делать такие низкие пояса …

— Подожди минутку… — сказала она малютке.

Но маленькая Энн уже исчезла. Ее звонкий голосок доносился из туалетной комнаты сэра Вилльяма, который судя по его репликам, должно быть брился в эту минуту. Когда же Агата, никогда

не упускавшая законного предлога зайти к мужу, открыла дверь то уже маленькой Энн, там не было. Она побежала дальше со своею новостью.

Сэр Вилльям стоял в раздумье один. Это был высокий, солидный человек с неподвижным лицом и проницательными глазами, в которых, однако, никто не находил ничего замечательного, кроме его собственной супруги.

— Этот парень, Куртье, пойман за ногу. — Сказал он Агате. Не знаю, что скажет твоя мать об этом? Враг очутился в нашем лагере…

— Ведь, он, кажется, свободомыслящий? Вряд ли…

Но сэр Вилльям, продолжая ход своих мыслей, прервал ее:

— Во всяком случае, что касается Мильтоуна, для него выгодно было привести врага сюда.

— Я думаю, нам придется выказать ему любезность, — проговорила Агата со вздохом. — Я пойду скажу матери.

Сэр Вилльям улыбнулся.

— Энн уже позаботилась об этом, — возразил он.

Энн, действительно, позаботилась, Усевшись в амбразуре окна, позади зеркала, за которым сидела Леди Валлейс, Энн говорила:

— Он упал из окна из-за красного перца, который бросили в него. Мисс Уоллес говорит, что он «заложник». Что это значит, бабушка?

Когда шесть лет тому назад слово «бабушка» впервые коснулось ушей леди Валлейс, то она с испугом подумала: «Бог мой! Неужели правда, я бабушка»? Это был удар, и, казалось, в этом слове заключался конец очень многого. Но стоический героизм женщин, гораздо скорее мужчин, мирящихся с неизбежным, скоро пришел к ней на помощь, и она, не в пример своему супругу, никогда уже не морщилась, слыша это название.

Однако, она ничего не ответила на вопрос маленькой Энн, отчасти потому, что Энн не надо было отвечать, чтобы поддерживать разговор. К тому же леди Валлейс была слишком занята своими собственными мыслями.

«Этот человек был ранен. Мы должны оказать ему гостеприимство потому, что оскорбление нанесено нашими же арендаторами», — думала она.

Однако, все же немного трудно быть любезной с человеком, который явился в эту местность со специальной целью восстановить избирателей против ее же собственного сына. Конечно, могло быть хуже. Это мог быть, например, какой-ни-

будь нонконформист-радикал. Ну, а этот мистер Куртье, во всяком случае, человек интересный и пользующийся известностью. Конечно, она должна позаботиться о том, чтобы ему было хорошо у них и удобно… Притом же можно было бы осторожно выведать у него относительно той женщины… Если он принял их хлеб-соль, то это обяжет его в политическом отношении. Насколько она могла судить об этом типе людей, они смотрят на гостеприимство с восточной точки зрения…

Леди Валлейс, как способный организатор, тотчас же оценила практическое значение такого факта. Как бы ни был ни желателен этот инцидент, все же в нем была и некоторая комическая сторона, не ускользнувшая от леди Валлейс, ум которой был склонен юмористически относиться ко всему, что не шло в разрез с ее интересами и философией.

Голос Энн снова прервал ее размышления.

— Я пойду теперь к тете Баб, — проговорила она.

— Хорошо, только поцелуй меня прежде…

Маленькая Энн подняла свое личико, и ее вздернутый носик коснулся тонких губ леди Валлейс…

Когда Куртье вышел в тот же день из своей ком-

наты на террасу, опираясь на палку, то первое, что он увидел, были три павлина, разгуливавшие по лужайке около статуи Дианы, вдали, позади высоких деревьев, виднелись луга и холмы, пастбища и огороды и, наконец, море, образующее мерцающую линию на горизонте. Все было окутано золотистым туманом, придававшим какой-то призрачный вид отдаленными предметами. Высокие трубы и стены фарфоровой фабрики в долине, на расстоянии пяти миль, казались издали укреплением какого-нибудь старинного итальянского города. Зной точно висел в воздухе и кругом царила тишина послеобеденного часа.

Куртье испытывал странное ощущение, очутившись в этой обстановке.

С Мильтоуном он два раза встречался у миссис Ноель, и, хотя они совершенно расходились друг с другом, но, тем не менее, Мильтоун не был ему неприятен. Семьи же его он совершенно не знал и не питал к ней никаких чувств. С тех пор, кик он вышел из Вестминстерской школы он начал странствовать по свету, и перевидал множество стран. В сущности, у него не было никакого классового чувства и ему также было непонятно, что можно ненавидеть аристократию только потому, что это — аристократия, как непонятно было и

чувство почтения к ней. Все его чувства группировались около двух главных потребностей его натуры: любви к приключениям и ненависти к тирании всякого рода.

Крестьянин, истязающий свою жену, лавочник, эксплуатирующий своих служащих, пастор, присуждающий своих прихожан к мукам ада, пэр, презирающий своих арендаторов, — все были одинаково противны ему. Он видел прежде всего индивидов, и класс не имел значения в его глазах. Лишь случайно он сделал то классовое обобщение, которое вскользь бросил Мильтоуну, когда они виделись в последний раз у миссис Ноэль. В эту минуту его приключение, благодаря которому он очутился в плену в лагере врага, скорее даже забавляло его и возбуждало его любопытство. Население кругом хорошо отзывалось об этой семье Карадоков. По-видимому, между ними и их арендаторами существовали добрые отношения. Не было заметно особенной нужды среди фермеров и дома не были слишком плохи. Во всяком случае Менклендские фермеры, если не поощрялись к улучшению своего положения, то, во всяком случае, удерживались на известном уровне благосостояния.

Если нужно было перекрыть соломой крышу,

то это часто делалось без отговорок, если кто-нибудь из обитателей уже не мог работать от старости, то все же он не попадал в рабочий дом. В неурожайные годы фермерам порой немного сбавляли арендную плату. Фарфоровая фабрика, хотя и управлялась автократически, но все же не чужда была либеральных принципов.

Правда, что лорд Валлейс, хотя и считался весьма твердым защитником политики: «назад к земле», но сам не выказывал ни малейшего расположения поощрять крестьян селиться на его земле и не продавал им ни одного участка. Без сомнения, он не делал этого по той причине, что считал более полезным для Монкленда оставаться в руках его прежнего владельца. Это убеждение было так прочно у него, что он даже поручал своему агенту скупать участки, расширяя таким образом свои земельные владения.

Однако, Куртье, слушая все эти рассказы и сплетни про Карадоков большею частью пропускал их мимо ушей. Он был плохим политиком и принимал к сведению лишь то, что было ему интересно, всегда идя к своей цели собственным путем.

Стоя на террасе замка у любуясь видом, который открывался перед ним, Куртье вдруг

услышал звонкий голосок и увидал маленькую девочку в большой шляпе с широкими полями, которая должна была бы защищать от солнца ее личико. Но шляпа была далеко сдвинута на затылок и лицо было открыто. Девочка направлялась к нему, протягивая ручку. Он взял ее и осторожно пожал, отвечая:

— Благодарю вас, я здоров, а вы?

Большие веселые детские глаза с любопытством рассматривали его перевязанную ногу.

— Болит она? — спросила девочка.

— Не до такой степени, чтобы стоило говорить об этом.

— У моего пони нога по рылась волдырями. Дедушка пойдет посмотреть, что с ним.

— Да?

— А теперь и я пойду. Надеюсь, что вы скоро выздоровеете. Прощайте.

Затем вместо маленькой девочки на террасе появилась статная цветущая женщина в сером платье из какой-то жесткой материи. На ней не было ни шляпы, ни перчаток, ни каких-либо украшений, за исключением маленьких часиков, усыпанных бриллиантами и колец на пальцах. Она рассматривала Куртье с несколько надменным видом, не лишенным, однако, комического

оттенка. Протянув ему красивую, но вовсе не маленькую руку, она проговорила:

— Я должна извиниться перед вами, мистер Куртье.

— О нет! — отвечал Куртье.

— Я надеюсь, что вы себя чувствуете хорошо. Позаботились ли о вас как следует?

— Больше, чем следует.

— Это в самом деле, большое несчастье. Но благодаря ему мы имеем возможность познакомиться с вами. Я читала вашу книгу.

Куртье показалось, что взгляд ее говорит ему:

«Да, книга остроумная, занимательная и хорошо написана. Но идеи!»

— Это очень мило с вашей стороны, — отвечал он.

Но в словах леди Валлейс, сказавшей:

«Я, правда нисколько не согласна с вами, вы знаете», — уже слышалась какая то жестокость, как будто она поняла, что он внутренне подсмеивается над нею.

— Мы нуждаемся совсем в другом, — прибавила она — в проповеди военных подвигов, особенно мы в праве их ожидать от бывшего воина.

— Поверьте мне, леди Валлейс, что эти подвиги лучше оставить людям с более нетронутым во-

ображением.

Она бросила на него быстрый взгляд и сказала:

— Во всяком случае, я думаю, что вы не так уж страстно увлекаетесь политикой…. Кстати, вы знаете мисс Ноэль? Какая прелестная женщина.

Но Куртье ничего не успел ответить ей, потому что она обратилась молодой красивой девушке с голубыми глазами и золотистыми волосами, которая вошла на террасу, высокая и стройная, в костюме для верховой езды.

— А, Баб! Моя дочь Барбара мистер Куртье, — сказала леди Валлейс, представляя их друг другу.

Тонкие пальчики, обтянутые перчаткой, на мгновение очутились в руке Куртье. Она улыбалась.

— Мильтоун уехал в город, мама, — говорила она. — Агата просила сейчас отправиться в Бекландбюри с его поручением. Я поеду на автомобиле и могу заехать на станцию за бабушкой.

— Возьми же с собой Энн, а то она никому здесь не даст покоя, — сказала леди Валлейс. — Может быть и мистер Куртье не прочь был бы проехаться? Ваше колено не очень болит?

— Нет! — отвечал Куртье, не спуская глаз с прелестного видения.

Никогда, даже будучи семилетним мальчиком,

он не мог равнодушно смотреть на красивую женщину. Он всегда испытывал при этом чувство непритворного восхищения, как перед истинным произведением искусства. И теперь, увидев такую красивую девушку, какой он, пожалуй, никогда в жизни не встречал, он готов был поехать хоть на край света, несмотря на боль в ноге. Было что-то обаятельное во всем ее существе и в ее улыбке, когда она заговорила с ним, точно угадывая его чувства.

— Хорошо, теперь надо отыскать Энн, — сказала она.

После недолгих, но очень энергичных поисков маленькая Энн была, наконец, найдена… в автомобиле. Инстинкт подсказал ей, где ей надо быть.

Автомобиль выехал на дорогу. Энн, сидевшая между Куртье и Барбарой, молчала, заинтересованная поездкой. Молчал и Куртье, но его внимание не было приковано к живописным видам, раскрывшимся перед его глазами. Он думал о девушке, сидевшей рядом с ним, ему хотелось разгадать ее мысли.

Маленькая Энн первая прервала молчание.

— Верно, это был не очень прочный дом, тетя.

Куртье посмотрел по направлению ее малень-

кого пальчика и увидал развалины небольшого домика, возле большой статуи человека, высеченной из камня.

Очевидно, этот каменный человек властвовал над этим холмом раньше, чем появились на нем люди из плоти и крови.

— Дом этот выстроил глупый человек, не правда ли, Энн? — сказала Барбара.

— Он еще жив?

— Нет… Он умер сто лет тому назад.

— Зачем же он выстроил этот дом?

— Он ненавидел женщин… и крыша упала и придавила его.

— Отчего же он ненавидел женщин?

— Оттого что он был чудак.

— Что такое, чудак, тетя Барбара?

— Спроси у мистера Куртье.

Смотря прямо в глаза девушке, светившиеся задорной насмешкой, Куртье отвечал: — Чудак, это такой человек, как я.

Он услышал легкий смех и заметил, что Энн с любопытством рассматривает его.

— А дядя Евстафий тоже чудак? — спросила Энн.

— Вы теперь знаете, что думает о вас Энн, мистер Куртье, — обратилась к нему Барбара, — Энн,

ведь, ты любишь своего дядю Евстафия?

— Да, — отвечала Энн, устремив глаза в пространство.

Но Куртье смотрел в сторону, через ее голову, не покрытую шляпкой. С каждой минутой ему становилось все веселее и веселее. Трудно было поверить, что она принадлежит к семье Карадоков, что она сестра Мильтоуна, до такой степени велико было различие между ней, жизнерадостной и обаятельной, и ее братом, скрытным и серьезным, с аскетической наружностью. Но разница была также громадна между нею и ее сестрой Агатой и братом Берти…

Автомобиль, спустившись с холма, проехал мимо маленьких вилл и серых рабочих домиков предместья Бекландбюри.

— Мы подъезжаем сейчас к избирательному бюро, — сказала Барбара. — Вы, ведь, зайдете, наверное, в бюро, Мистер Куртье? Остановитесь, Фриц!

И прежде чем Куртье успел ответить, автомобиль остановился у дома, на котором красовалась надпись: «Выбирайте Чилькокса!».

Куртье вошел, хромая в комнату, в которой пахло краской, но он не замечал этого, потому что принес с собой аромат юности, цветов и полей.

В комнате, служившей, очевидно, для собраний избирательного комитета Гемфри Чилькокса, сидели вокруг стола трое мужчин. Самый старший из них, с маленькими серыми глазками и большой бородой, тотчас же подошел к Куртье.

— Мистер Куртье, кажется? Рад видеть вас. Очень огорчен был нанесенным вам оскорблением. Хотя…в известном отношении это нам принесло пользу. Да, конечно. Бесчестный поступок. Я не удивлюсь, что из-за него они потеряют сотню другую голосов. Последствия не замедлят обнаружиться…

Какой-то худощавый, довольно представительный господин подошел к ним, держа в руках газету.

— Неприятные последствия для них налицо, — сказал он. — Почитайте-ка это.

Он протянул газету, на первой странице которой крупными буквами было напечатано:

«Оскорбление, нанесенное лицу, пользующемуся известностью. Вечернее приключение лорда Мильтоуна».

Куртье прочел газетную заметку. Наступило зловещее молчание, которое прервал человек с бородой:

— Один из наших приверженцев, должно быть,

видел, что произошло и тотчас же помчался на велосипеде в редакцию и написал свою заметку, которая и была напечатана. Здесь не делается никаких указаний на леди, а только сообщаются факты. Впрочем, этого совершенно достаточно, — прибавил он сурово. — Я думаю, что Мильтоун получил по заслугам, сэр. Повторяю, газета не высказывает никаких обвинений, а передает только факты. Остальное добавит положение этой леди. Я тут ничем помочь не могу, да и правду сказать, сэр, не хочу. Очень хорошо, что мы в нашей общественной жизни не обнаруживаем распущенности нравов…

Однако, заметив что-то особенное в лице Куртье, он спросил с живостью:

— Вы знаете эту даму?

— Да, я знаю ее с детства, и каждый, кто скажет о ней что-нибудь дурное, будет иметь дело со мной.

Худощавый человек ответил с чувством:

— Поверьте, мистер Куртье, что я вполне вам сочувствую. Мы ровно никакого отношения не имеем к этой заметке. Это один из таких случаев, из которых извлекается выгода помимо собственной воли. В высшей степени неприятно, что она вышла вместе с лордом Мильтоуном на луг. Вы

же знаете, каковы люди!

— Не знаю, не знаю, — упрямо проговорил другой член комитета. Если лорд Мильтоун желает проводить свои вечера у одиноких дам, то пусть пеняет сам на себя! Куртье обвел взглядом комнату, сидящих в ней людей и, наконец, сказал:

— Эта заметка обрывает все мои отношения с избирательной кампанией… Где находится редакция?

Не дожидаясь ответа, он взял газету и вышел хромая из комнаты. Несколько мгновений он простоял на крыльце, отыскивая в газете нужный ему адрес, а затем заковылял по улице.

Глава VIII

Барбара сидела, облокотившись на подушки, возле маленькой Энн и дожидалась своего спутника. Несмотря на то, что она принадлежала к кругу, в котором рано вступают в светскую жизнь, в ней все же было что-то детское, жизнерадостное и та порывистость, которая так нравится в детях.

Однако, она довольно пренебрежительно посматривала на своих сограждан в Бекландбюри, замечая их взгляды, украдкой бросаемые в ее сторону. Впрочем, в эту минуту она думала не о них, а о своем новом знакомом, которого ожидала, сидя в автомобиле. Он был существом другого мира.

Она встречала много мужчин, но такого еще не видела ни разу. Приятно было находиться в обществе этого умного человека, жизнь которого была богата приключениями всякого рода. Те писатели и даже члены литературной богемы, которые были приняты в ее кругу, в сущности, были только «священнослужителями двора», присутствие которых признавалось необходимым для того, чтобы аристократия всегда была осведомлена относительно последних произве-

дений литературы и искусства.

Но Куртье был человеком действия прежде всего. На него нельзя было смотреть с той снисходительной симпатией, какую всегда возбуждали в ней люди, известные только своими идеями и тем, что они воплощали их только кистью и пером.

Увидев, как он тяжело хромает, идя по улице, она почувствовала к нему глубокую жалость.

— Вам нельзя доверять, как я вижу, — сказала она, когда он уселся возле нее, и автомобиль быстро покатился по дороге. — Почему вы оставались там так долго?

Куртье угрюмо молчал, и Барбара почувствовала себя обиженной его нелюбезностью. В первый раз в жизни ей оказано было такое явное невнимание.

«Хорошо же, хорошо, голубчик!» — думала она, но, взглянув украдкой в его сторону, заметила что-то такое в его лице, что заставило ее забыть свою обиду.

— Куртье? — спросила она. — Случилось что нибудь плохое?

— Да, леди Барбара, нечто очень неприятное, — ответил он — человеческий язык это такая пошлая, отвратительная вещь.

Барбара инстинктивно поняла в чем дело, и, взглянув ему прямо в глаза, через голову Энн, сказала:

— Что-нибудь, относящееся к миссис Ню?

Получив утвердительный ответ она быстро спросила:

— И к М...?

Куртье кивнул головой.

— Я этого ожидала, — сказала она. — Ну и пусть себе болтают. Кому какое дело? Она заметила, что он одобрительно посмотрел на нее, и добавила:

— Это совершенно неважно.

Автомобиль остановился у станции, и они увидели маленькую, серенькую фигурку леди Кастерлей, выходящую из дверей. На лице старой леди почти не было заметно признаков утомления после продолжительного путешествия. Она кивнула головой шоферу и Куртье:

— Здравствуй, Фриц, — сказала она. — А это вы, мистер Куртье? Я знаю вашу книгу и не одобряю ваши идеи. Вы опасный человек. Как вы поживаете? Я должна взять с собой эти два чемодана. За остальными вещами можно прислать повозку. Садись впереди, но смотри, не запылись, Энн!

Но Энн уже сидела возле шофера, воспользовавшись давно желанным случаем.

— Гм, — произнесла леди Кастерлей, усаживаясь. — Вы повредили себе ногу, сэр. Сидите, пожалуйста… Мы можем тут поместиться втроем… Теперь, моя дорогая, я могу поцеловать тебя. Как ты выросла.

Обменявшись поцелуем с бабушкой, Барбара взглянула на Куртье. Они сидели теперь близко, касаясь друг друга, но ей казалось, что он совершенно не замечает этого.

— Как чудно пахнет у вас здесь! — воскликнула леди Кастерлей, с жадностью вдыхая свежий, душистый воздух, напоенный ароматом лугов и лесов. — Кстати, мистер Куртье, чтобы не забыть. Что это за миссис Ноэль, о которой столько говорят здесь?

Барбара вздрогнула. Как он поведет себя? Теперь то он должен показать себя в настоящем свете. Бабушка, в самом деле, ужасна!

— Очаровательная женщина, леди Кастерлей, — спокойно отвечал Куртье.

— Без сомнения. Но мне уже надоело слышать это. Какова ее история?

— Разве у нее есть история?

— Ха!.. — воскликнула леди Кастерлей.

Барбара чуть-чуть прикоснулась к руке Куртье.

— У нее есть прошлое, во всяком случае, — настаивала старуха.

— Не для меня, леди Кастерлей, — сказал Куртье.

Снова Барбара незаметно и ласково прикоснулась к его руке.

— Это все очень таинственно, — продолжала леди Кастерлей. — Я должна узнать это. Ты знакома с ней, моя дорогая? Ты должна повезти меня к ней.

— Дорогая бабушка. Ведь, если бы у людей не было прошлого, то не было бы и будущего.

Леди Кастерлей положила свою маленькую ручку, напоминающую кошачью лапку, на колени своей внучки.

— Не говори глупостей и не преувеличивай, — сказала она. — Вы все тут слишком широко смотрите на вещи…

За обедом уже все знали новость. Сэру Вильяму сообщил об этом местный агент в Ставертоне, где речь лорда Гарбинджера была несколько раз прервана грубыми замечаниями. Единственный член семьи, ничего не слышавший о том, что было напечатано в газетах, был лорд Деннис Фиц-Гарольд, брат леди Кастерлей.

Впрочем, во время обеда говорили об этом мало

и только после того, как ушли дамы, Гарбинджер заговорил с совершенно неожиданной резкостью, так не гармонировавшей с его классической наружностью. Он объявил напрямик, что, если не удастся подавить эти толки в самом начале, то кандидатура Мильтоуна погибла. В самом деле, это очень серьезно, и негодяи понимают это… А Мильтоун, как нарочно, уехал в Лондон, неизвестно зачем!.. Черт знает, что за история!

Его раздраженная речь вдруг была прервана фразой, сказанной с легким сарказмом в голосе:

— Из-за чего вы так кипятитесь, милый юноша.

Это говорил брат леди Кастерлей. Трудно было вообразить большую противоположность, чем та, которую представляли брат и сестра. Ее резкость и решительность заменялись у него мягкостью и какою-то слегка насмешливой учтивостью. Но всем известны были его прямота, его неспособность идти окольными путями, его неизменная любовь к одной только женщине, закончившаяся лишь с ее смертью.

Все это создавало ему репутацию человека, на суждения которого можно положиться, и в обществе он пользовался некоторым влиянием. К нему прибегали, впрочем, как к последнему убежищу,

когда нужно было найти какой-нибудь выход.

«Так плохи дела… Попробуйте обратиться к старому Фиц-Гарольду. Он хоть и не даст вам никакого совета, но все же скажет что-нибудь». — говорилось обыкновенно в таких случаях, и к старику обращались, чтобы выслушать его чистосердечное суждение. Гарбинджер сконфузился, услышав обращенный к нему вопрос лорда Фин-Гарольда. Может быть, он сказал что-нибудь лишнее, слишком резко выразился? Он забыл о присутствии старика. Толкнув Берти ногой, он пробормотал:

— Простите, я забыл, что вам ничего не известно, сэр… Берти вам объяснит…

Берти чуть-чуть повернулся к своему дяде и лениво начал объяснять ему.

— В коттедже живет одна леди, красивая женщина. С ней знаком Куртье… и Мильтоун тоже посещал ее… иногда… Один раз поздно вечером… Эти негодяи воспользовались… намекая… Он может провалиться на выборах, если не прекратить это вовремя!.. Такая нелепость!.. По его мнению, Мильтоун, всегда такой положительный, поступил данном случае очень глупо, позволив этой даме выйти с собою на луг и ясно показав этим, где он засиделся так поздно… Нельзя же

подчеркивать так свою близость с женщиной, не занимающей определенного положения и относительно которой никто ничего не знает.

Наступила минута молчания. Затем Уинслоу спросил:

— Что же надо сделать? Может быть, надо телеграфировать Мильтоуну? Ведь, подобного рода вещи распространяются с быстротою молнии.

Сэр Вильям, не склонный умалять значение вещей, предвидел большие неприятности. Гарбинджер объявил, что редактора газеты следовало бы поколотить за это. Известно ли кому-нибудь, что предпринял Куртье, когда ознакомился с содержанием статьи? А где он, кстати? Обедает в своей комнате.

Берти высказал предположение, что еще не поздно телеграфировать Мильтоуну, который, вероятно, находится в доме Валлейсов в Лондоне. Надо сразу прекратить неприятную историю…

И во всех этих рассуждениях проглядывало желание рассматривать происшедшее как величайшую дерзость и, говоря в переносном смысле, задать негодяям встряску, что было вполне естественным стремлением для молодых людей этого круга. Вдруг среди наступившего молчания раздался голос лорда Фиц-Гарольда:

— Как это должно быть неприятно этой бедной леди!..

Повернувшись в ту сторону, откуда раздался этот спокойный голос, к Гарбинджеру сразу вернулось самообладание, которое на время оставило его, и он прошептал:

— О, да, сэр, вы правы...

Глава IX

В маленькой гостиной, в которой собирались только тогда, когда не было никого посторонних, миссис Уинслоу раскрыла рояль и начала играть. Но ее никто не слушал. Леди Кастерлей, леди Валлейс и ее обе дочери уселись в кружок, чтобы обсудить то, что случилось. Однако, ни в столовой, ни в гостиной никто ни на минуту не заподозрил чистоты отношений Мильтоуна к миссис Ноэль.

Мильтоун, в глазах всех, был вне подозрений такого рода. В столовой мужчины придавали значение этому неприятному инциденту лишь настолько, насколько он мог оказать влияние на выборы. Дамы же в гостиной смотрели на это несколько с другой точки зрения. Их беспокоила мысль, что на такого человека, как Мильтоун, все эти толки должны подействовать как раз нежелательным образом, т. е. еще сильнее прикрепить его к этой женщине. Выборы же, в глазах их, были второстепенным делом.

Как это ни странно, но эти четыре женщины, собравшиеся в гостиной, впервые только поняли

теперь, какое большое место в их жизни занимал Мильтоун, которого, в сущности, они так мало знали. Они были взволнованы и огорчены, но у каждой из них это выражалось по-разному.

Леди Кастерлей сидела с решительным видом, и чувства ее выражались лишь в дрожании ее худеньких рук. Леди Валлейс, по-видимому, сама удивлялась тому, что она настроена серьезно.

Агата же были искренно встревожена. Она была из тех женщин, которые принимают без дальнейших сомнений установленный порядок в жизни и религии. Для нее весь мир заключался в доме и семье, и потому все, в чем она инстинктивно чувствовала опасность для своего жизненного идеала, внушало ей искренний ужас. В обществе о ней были невысокого мнения, считали ее не особенно умной и узкой и сравнивали ее с наседкой, постоянно бегающей около своих цыплят. Та сила характера, которая заключалась в ней, не была ни для кого заметна. И то, что она чувствовала в данную минуту относительно своего брата Мильтоуна, лежало в другой плоскости, нежели чувства ее сестры, матери и бабушки.

Она думала о том, что опасность угрожает ему как мужу и отцу, а в этом только она и видела смысл существования всякого мужчины. А так

как она разделяла взгляды англиканской церкви на неразрывность брака, то ее смущала также мысль, что и душе Мильтоуна угрожает опасность.

Что же касается Барбары, то она одна стояла молча, заложив руки за спину и прислонившись к камину своими белыми плечами. Лицо ее выражало нетерпение, по временам на устах блуждала неопределенная улыбка, а в глазах загорался какой-то странный огонек.

Леди Валлейс, вздыхая, говорила:

— Если бы только он не был таким странным человеком ведь он может жениться на ней просто из упрямства.

— Вот еще! — воскликнула леди Кастерлей. — Вы не видали ее, дорогая мама. К несчастью, она удивительно привлекательна… у нее прелестное личико.

Агата спокойно заметила:

— Мама, если только она разведенная жена, то я не думаю, чтобы Евстафий на это решился.

— Да как бы не так! Надейся на это, — прошептала леди Валлейс.

— А вы не знаете, при каких условиях состоялся ее развод? — воскликнула леди Кастерлей.

— Нет. Но викарий говорит, что это она тре-

бовала развода. Впрочем, он ведь очень добрый человек и возможно, что было иначе, — сказала леди Валлейс.

— Ненавижу неопределенность. Почему же никто не обратится к ней самой? — спросила леди Кастерлей.

— Вот вы, дорогая бабушка, отправитесь к ней со мной и спросите ее сами. Вы сумеете это сделать, — вмешалась Барбара.

— Увидим, — проворчала леди Кастерлей, глядя вал на Барбару.

В сердце старухи Барбара занимала совсем особенное место. Не склонная восхищаться ничем, она, тем не менее, втайне восхищалась этой девушкой, в которой, по ее мнению, более, чем в Агате, воплотился дух ее касты. Правда, серьезность Агаты и ее твердые принципы, конечно заслуживали похвалы, но ее нравственная узость и ее чересчур англиканские воззрения все же порою возмущали леди Кастерлей как совершенно излишняя мелочность.

Практический и светский ум леди Кастерлей отвергал такую щепетильность в вопросах нравственности и даже готов был рассматривать ее как своего рода слабость. Леди Кастерлей ненавидела слабость, в чем бы она ни выражалась. Ей

нравилась смелость Барбары, сказавшей:

«Если бы у людей не было прошлого, то не было бы и будущего».

А леди Кастерлей не любила людей без будущего…

— А где же ты встретилась с этой… гм… незнакомкой? — спросила она Барбару. Барбара отошла от камина и, нагнувшись к старухе, обняла ее.

— Не бойтесь, бабушка, — сказала она. — Она не может испортить меня.

Леди Кастерлей не могла устоять против этой ласки, хотя внутренне и возмущалась своенравием девушки.

— Знаю, знаю твои хитрости, — проговорила она ворчливым тоном. — Рассказывай же, где ты ее видела?

— Я навестила ее… Она очень мила. Мы разговаривали.

Своим спокойным голосом Агата опять заметила:

— Милая Баб, тебе бы следовало подождать.

— Для чего, мой ангел? Что мне за дело до того, было ли у нее четыре мужа или только один?

Агата закусила губы, а леди Валлейс, проговорила со смехом:

— Ты, в самом деле, ужасна, Баб!

Миссис Уинслоу перестала играть. Это означало, что мужчины вернулись в гостиную. Разговор больше не возвращался к прежней теме. Говорили о политике о готовящейся речи Бребрука, о новых карикатурах на политических деятелей, о билле всеобщего страхования, о последнем произведении великого французского писателя и о полете Уинслоу, который, послав жену вперед, сам прилетел на своем биплане. Но все как-то избегали говорить о том, что их больше всего интересовало в данную минуту.

Лорд Деннис Фиц-Гарольд не принимал участия в этих разговорах. Он сидел на другом конце комнаты и рассматривал альбом с гравюрами. Вдруг он почувствовал, что кто-то нежно прикоснулся к его щеке, и понял, что это была Барбара.

— Красивые тут вещи, Баб, — сказал он, кивая на альбом.

Барбара ничего не отвечала.

Он поднял глаза и взглянул на нее вопросительно.

— Ненавижу, когда смеются над людьми за их спиной, — проговорила она с жаром и отвернулась к окну.

Между ней и лордом Деннисом давно уже установились товарищеские отношения с тех пор,

как она еще ребенком сопровождала его на своем маленьком пони, когда он ездил верхом. Он искренно привязался тогда к златокудрой девочке, и она отвечала ему тем же. Теперь он уже больше не ездил с нею верхом, и дни их совместных прогулок прошли, но все же, когда он гостил у ее матери, она всегда поверяла ему то, что у нее было на душе, и любила разговаривать с ним. И в настоящую минуту лорд Фиц-Гарольд тотчас же почувствовал, что у Баб есть что-то на сердце и ждал, что она выскажется.

Она смотрела в окно на темные облака, скользившие по небу, из-за которых то и дело выглядывали звезды, которые казались ей такими холодными и насмешливыми. Никогда еще она не чувствовала такой пустоты в душе, как в эту минуту.

— Стоит ли жить, если не рисковать ничем? — проговорила она вдруг, снова поворачиваясь лорду Фиц-Гарольду.

— Не понимаю вас, милое дитя, — сухо отвечал Фиц-Гарольд.

— Посмотрите на мистера Куртье — прошептала она. — Он рисковал в своей жизни больше, чем кто бы то ни было из наших мужчин. А, между тем, они насмехаются над ним.

Лорд Деннис удивленно посмотрел на нее.

— Надо знать, что он сделал, — возразил он.

— О… Пожалуй, не очень многое, но все это очень смелые поступки. Впрочем, какое дело до этого, например, Гарбинджеру? Ведь, если его проект социальной реформы провалится, то он все же останется тем же Гарбинджером с 50.000 фунтов годового дохода.

— Как Баб? Неужели вы не принимаете в серьез этого молодого человека? — спросил лорд Деннис.

Она пожала своими белыми плечами.

— Он и сам знает, что все это одна игра для него, — сказала Баб. — Да он и не виноват в этом.

— Я слышал, что он просит вашей руки, Баб.

— Он еще не получил ее.

— И не получит? — спросил лорд Деннис.

Она опять пожала плечами вместо ответа.

— А вы интересуетесь этим мистером Куртье? — язвительно спросил лорд Деннис.

— Я интересуюсь всем. Разве вы этого не знаете, дорогой мой.

— Но в пределах благоразумия, дитя мое?

— О, да, конечно… как и бедняга Евстафий.

Она вдруг замолчала, увидев приближающегося Гарбинджера. Молодой человек смотрел на

нее с таким робким и почтительным обожанием, что, казалось, оно должно было тронуть сердце своенравной девушки.

— Не споете-ли вы тот романс, который я так люблю, леди Баб? — сказал он.

Они направились к роялю, а лорд Деннис, глядя вслед удаляющейся красивой паре, казалось созданной друг для друга, с задумчивым видом поглаживал свою бороду.

Глава X

Внезапная поездка Мильтоуна в Лондон была вызвана решением, которое медленно назревало у него с того момента, как он встретил миссис Ноэль в первый раз. Если она не откажет ему, а в последний раз он получил уверенность, что она ему не откажет, — то он решил жениться на ней.

Мильтоун был способен к глубокой страсти, несмотря на то, что до сих пор он не любил никого. Он вел строгую, воздержную жизнь и никогда не позволял себе никаких легкомысленных развлечений. Только раз в жизни он нарушил свои правила и за это корил себя. Но в тайниках его души скрывалось пламя, которому не хватало только струи воздуха, чтобы разгореться.

Духовное общение с молодой женщиной, обаятельной и прекрасной, стало бы такой струей. Он видел в миссис Ноэль воплощение своего идеала, и она наполняла его мысли с момента первой встречи. Само собою разумеется, что никто не решался говорить о ней в присутствии Мильтоуна, поэтому никакие сплетни не достигали его ушей. Он слышал мельком о ее разводе и не сомневал-

ся, что она была потерпевшей стороной. После своего разговора с викарием он только однажды упомянул об этом, в ответ на слова одной леди, сказавшей при нем:

— О, да я отлично помню. Эта та самая бедняжка, которая…

— Она, конечно, не была виновата, в том уверен, леди Вонингтон — перебил он ее, и тон голоса его был таков, что леди Вонингтон не решилась продолжать, а только неловко засмеялась.

Конечно, всякий развод был против его убеждений, но все же он допускал, что в некоторых случаях без него нельзя было обойтись. Он был не такой человек, чтобы требовать от других или ждать откровенностей. Сам он никому не поверял своей душевной борьбы, а всякая другая борьба не имела смысла в его глазах. Он был готов во всякое время отдать свою жизнь, чтобы сохранить в чистоте образ той, которую носил в своей душе, и так же просто готов был своим телом защитить ее от всякого зла.

Его страсть была проникнута фанатизмом, и это отчасти было побудительной силой, заставившей его прежде, чем объясниться с мисс Ноэль, сказать об этом своему отцу. Он, конечно, мог представить себе заранее, как отнесется отец к

его сообщению, и даже внутренне улыбался при мысли об этом, но скоро перестал думать о нем, погрузившись в чтение книги, которую взял с собой в дорогу.

Отца он не застал дома. Трое слуг, встретивших его в огромном, пустом доме Валлейсов в Лондоне, передали ему, что его отец вернется к обеду. Чтобы как-нибудь убить время, он пошел бродить по городу.

Возле церкви св. Павла он, от нечего делать, зашел в маленькую антикварную книжную лавочку, хозяин которой, Вилльям Рималл, хорошо знал его. Рималл тотчас же показал ему свое последнее приобретение, библиографическую редкость — старинное издание «Утопии» Томаса Мура. Мильтоун с любопытством раскрыл старую книгу и начал ее рассматривать.

— Вижу, что это не поддельное издание, — сказал Мильтоун.

— Эту книгу читать нельзя, — предупредил Рималл, — она так стара. Пожалуй, не безопасно даже переворачивать листы. У меня еще не было такого прекрасного экземпляра. Это большая редкость, уверяю вас.

— Удивительный мечтатель — проговорил Мильтоун. — Социалисты и теперь еще не ушли

далеко от него.

Глаза Рималла сверкнули, точно он собирался вступиться за взгляды Томаса Мура.

— Что-ж, — сказал он. — Я думаю, что он был одним из них… Я забыл, занимаетесь-ли вы политикой, сэр?..

Мильтоун улыбнулся.

— Я бы хотел видеть Англию, Рималл, такою, какой она представляется Муру в мечтах. Но моя механика другая. Я хочу начать с вершины.

Рималл кивнул головой.

— Совершенно верно, — сказал он. — Мы дойдем до этого, смею сказать.

— Мы должны, Рималл.

Мильтоун перевернул страницу книги. Лицо хозяина лавки передернулось.

— Я не думаю, чтобы эта книга подошла вам… при вашей любви к чтению — заметил он Мильтоуну. — У меня есть другая, очень любопытное старинное издание о китайских храмах. Редкая книга, но она не так стара, и поэтому ею можно пользоваться и изучать. Одна из тех, которые можно смаковать. Она всего более подходит к вашему вкусу…

Он раскрыл книгу и, указывая на рисунки, прибавил:

— Забавный принцип вкладывают они в свои постройки. Мы так не строим в Англии…

— К сожалению, мы так не строим, Рималл, — произнес с ударением Мильтоун. — Но мы должны были бы… и будем. Я возьму эту книгу.

Мильтоун зорко посмотрел на продавца, но он, казалось, не понял намека. Положив руку на изображение пагоды, Мильтоун проговорил:

— Хороший символ.

— Совершенно верно, — подтвердил книготорговец, глаза которого украдкой разглядывали тайные значки на корешке книги, обозначавшие ее цену. — Думаю, что она вам понравится, — сказал он. — Цена для вас 27 шиллингов и шесть пенсов.

Мильтоун взял свою покупку и вышел на набережную Темзы. Нежные лучи заходящего солнца, точно ласкали ее, обливая все кругом своим теплом и светом, и, казалось, река улыбалась им. Теплая волна прилила к сердцу Мильтоуна, и, перед его глазами носилось обаятельное видение женщины с прелестными темными глазами и нежным голосом, стоящей между цветами. Без нее жизнь потеряет свой смысл для него. Никакая работа не будет плодотворной, никакая схема не будет иметь значения…

Лорд Валлейс встретил своего сына за обедом очень ласково, но с оттенком удивления.

— Заседание закончилось, мой друг? — спросил он. — Или, быть может ты приехал, чтобы послушать, как Бребрук выступит против нас? Он что-то запоздал нынче со своей речью. Впрочем, это нас не особенно беспокоит.

Говоря это, он украдкой рассматривал сына холодным, любопытным взглядом. Что привело его сюда? — думал он. — Во всяком случае, он не даром приехал…

— Мне надо поговорить с вами, сэр, — сказал Мильтоун.

Его пристальный взор остановился на лице отца дольше, чем это дозволяли приличия.

Лорд Валлейс всегда испытывал некоторую неловкость в присутствии своего старшего сына. Его ему смущала нетерпимость Мильтоуна и его политические убеждения. Его сын всегда выказывал тенденцию идти напрямик и доводить вещи до своего логического конца, а это лорд Валлейс, умеющий выжидать, стоя впереди, считал весьма опасным качеством характера.

В политике Мильтоун был еще младенцем, но, обладая ораторским талантом, он, несомненно, должен будет выдвинуться в первые ряды. Лорд

Валлейс до сих пор не мог их определить. Впрочем, как он сам говорил не раз, политические взгляды являются скорее продуктом темперамента, нежели разума. Но он не сочувствовал и не понимал такого отношения к общественным вопросам, которое выходило бы за пределы уровня, предписываемого здравым смыслом.

Конечно, и в его характере была доза упорства, и он не уступал, когда находил, что дело касалось традиций его касты. Но все же он находил, что Мильтоун слишком прямолинейный аристократ, не лучше социалиста, со своей проклятой привычкой видеть вещи без всяких прикрас и силою навязывать людям реформы, схватив их за горло железной рукой. И потом его привычка всегда поступать согласно своим принципам. Лорд Валлейс испытывал неприятное чувство, думая об этом. Как бы то ни было, но у него, к несчастью, слишком глубокие взгляды, глубже, чем это нужно в политике. Это опасно даже очень. Впрочем, лорд Валлейс надеялся, что опыт переделает его.

Он старался припомнить, остался ли хоть один политический деятель таким же, каким был, когда вступал на политическую арену? Он не мог вспомнить ни одного. Эта мысль несколько успокоила его. Он поглядывал на своего сына, ел

спаржу и ждал, что тот ему скажет.

В самом деле, он не помнил ни одного случая, когда бы его сын обращался к нему с такими словами. Он был добрым и снисходительным отцом, но, как и большинство мужчин, поглощенных политической деятельностью и интересующихся жизнью других людей, он мало интересовался жизнью своих собственных детей. У него их было четверо, но одна только Барбара вызывала в нем отцовское чувство. Он искренне восхищался ею, а так как он был из тех людей, которые не могут любить, не восхищаясь, то из всех детей он любил настоящим образом только ее. Не считая себя в праве требовать откровенности от кого бы то ни было, даже от собственного сына, он терпеливо ждал, когда тот заговорит с ним.

Но Мильтоун не торопился говорить о том, что было у него на душе. Он подробно рассказал о приключении с Куртье, что очень понравилось лорду Валлейсу.

— Пытка красным перцем? Никогда бы не думал, что они на это способны, — сказал он. — Так значит, ты отвез его в Монкленд. А Гарбинджер с вами?

— Да. Но он не очень-то устойчив.

— В политическом отношении?

— Да. Я скорее недоволен, что он на нашей стороне. Не думаю, чтобы он мог принести нам пользу…

Затем Мильтоун заговорил о последних политических карикатурах на лорда Валлейса и других политических деятелей. Разговор шел урывками, пока слуги не удалились из комнаты. Когда они остались одни, Мильтоун прямо взглянул на отца и без всякого предварительного вступления проговорил:

— Я хочу жениться на миссис Ноэль.

На лице лорда Валлейса не дрогнул ни один мускул. Оно сохраняло выражение такого же равнодушия, какое всегда появлялось у него на скачках, когда он видел, что лошадь его не возьмет приза. Единственным признаком волнения было то, что он не притронулся к вину и поставил на стол стакан, который поднес, было, к губам.

— Не слишком ли это скоро? — проговорил он.

— Я хотел этого с первого момента встречи с нею, — отвечал Мильтоун.

Лорд Валлейс откинулся на спинку кресла и с легким сарказмом заметил:

— Мой милый друг, это очень хорошо с твоей стороны, что ты пришел предупредить меня об этом, хотя, по правде сказать, это такого рода

новость, что я лучше бы желал не слышать ее.

Мильтоун почувствовал, как кровь медленно приливает к его щекам. Очевидно, он ошибался в своем отце, и его хладнокровие и самообладание смутили Мильтоуна.

— Что вы можете возразить против? — спросил он.

Бисквит, который лорд Валлейс держал в руке, слегка задрожал. Мильтоун обрадовался этому, как признаку слабости. Но лорд Валлейс тоже заметил, что рука его дрожит и поспешил съесть предательский бисквит.

— Мы — светские люди… — сказал он, наконец.

— Только не я! — возразил Мильтоун.

— Пусть это так. Но я.

— Да.

— Евстафий!..

Мильтоун пристально смотрел на отца. В первый раз в жизни лорд Валлейс почувствовал, что у него сжимается сердце. Что за характер был у его сына, если при первом же намеке на несогласие, он мог смотреть на него таким взглядом?

Совладав с собой, лорд Валлейс вынул портсигар и, раскрыв его, предложил сыну, но тотчас же, вспомнив, заметил:

— Я и забыл, что ты не куришь.

Наступило молчание. Лорд Валлейс медленно раскуривал сигару. Наконец, он сказал:

— Она выглядит настоящей леди, но больше я ничего не знаю о ней.

— Зачем вам надо что-нибудь знать о ней?

Лорд Валлейс пожал плечами. Хладнокровие вернулось к нему.

— Я слышал что-то о разводе, — проговорил он сухо. — Я думал до сих пор, что взгляды церкви на развод…

— Она не сделала ничего дурного.

— Так ты знаешь ее историю?

— Нет.

Что-то в роде восхищения, смешанного с иронией, промелькнуло во взгляде лорда Валлейса, брошенном на сына.

— Я думаю, что вы не можете понять моего чувства к миссис Ноэль, — сказал Мильтоун… В вашу схему вещей оно не входит. Но только такое чувство могло побудить меня к браку, и оно может быть у меня только к ней и ни к кому другому…

Лорд Валлейс понял, что сын говорит правду, и понял серьезность дилеммы, внезапно представшей перед ним. Не говоря больше, ни слова, он встал из-за стола…

Глава XI

Леди Кастерлей имела неудобную привычку вставать очень рано. В Равентэме она уже прогуливалась в своих садах с семи часов утра и не изменяла своему обыкновению даже тогда, когда гостила у кого-нибудь из своих родных. И все беспрекословно подчинялись этому, так что, когда ее горничная Реналь пришла рано утром к горничной Барбары и сказала ей, что леди Кастерлей желает, чтобы она разбудила свою барышню, то горничная зашнуровывавшая свой корсет в эту минуту, нисколько не удивилась такому приказанию и ответила просто:

— Я сейчас пойду. Но леди Барбара не очень-то будет довольна…

Через десять минут горничная уже входила в комнату молодой девушки, которая крепко спала, подложив руку под голову. Волны ее темно-рыжих пышных волос рассыпались по подушке, спускаясь ей на плечи; губы ее были полураскрыты. Горничная, поднимая занавески, невольно залюбовалась Барбарой.

Вдруг Барбара открыла глаза и спросила:

— Разве уже восемь часов, Стасей?

— Нет еще. Но леди Кастерлей желает, чтобы вы пошли с нею в парк.

— Ах, какая досада! Мне снился такой хороший сон…

Она снова откинула голову на подушку и закрыла глаза, точно желала продолжить свой сон.

Луч солнечного света заиграл на ее волосах и осветил ее белую полную шею. Странное желание вдруг пронизало мозг девушки, стоящей возле нее, сжать, крепко сжать эту белую шею в своих руках. Но Барбара опять открыла глаза.

— Леди Кастерлей уже в саду, — сказала горничная.

Барбара быстро встала и подбежала к окну.

Возле статуи Дианы она увидела тонкую, серую фигуру леди Кастерлей, рассматривавшей какие-то цветы на клумбе.

Барбара так торопилась, что даже не надела шляпы и застегивала на ходу свою полотняную юбку, сбегая по лестнице и вдоль Георгиевского коридора в сад. Она бежала так быстро, что чуть не упала на руки Куртье в конце коридора…

Леди Кастерлей гуляла в саду в обществе маленькой Энн, для которой было новым развлечением гулять в такой ранний час. Она

рассматривала с любопытством цветы и постоянно обращалась с вопросами к своей прабабушке. Но леди Кастерлей, заметив Барбару, которая подошла к ним в эту минуту, спросила се, указывая на какой-то цветок:

— Это что такое?

— Это немезида, — ответила Барбара.

— Никогда не слыхала о таком цветке…

— Он теперь в большой моде, бабушка.

— Немезида? — повторила леди Кастерлей. — Какое отношение может иметь Немезида к цветам?.. Меня раздражают садовники со своими идиотскими названиями… А где же твоя шляпа?.. Мне нравится цвет твоего платья… У тебя не застегнута одна пуговица. Пойди-ка сюда.

И своими тонкими пальцами, удивительно проворными да ее лет, старуха застегнула верхнюю пуговицу на лифе Барбары.

— У тебя цветущий вид, моя дорогая, — сказала леди Кастерлей, любуясь внучкой. — Скажи мне, далеко отсюда до коттеджа этой дамы? Мы можем пойти к ней сейчас.

— Она, вероятно, еще не встала.

Глаза леди Кастерлей зло сверкнули.

— Ты говорила мне, что она порядочная и достойная женщина. Ни одна достойная женщина

не станет валяться в постели после семи часов утра! Где кратчайшая дорога к ее коттеджу?.. Нет, Энн. Нет, Энн, мы не можем взять тебя с собой.

Маленькая Энн посмотрела на свою прабабушку каким-то особенно пристальным взглядом и проговорила небрежно:

— Я все равно не могу идти с вами… Я пойду в другое место.

— Очень хорошо, — сказала леди Кастерлей. — Тогда беги!

Малютка Энн сжала губки и отошла к следующей клумбе немезид. Она нагнулась, как будто рассматривала цветы и желая показать бабушке, что нашла предмет, более достойный внимания.

— Идем, — сказала леди Кастерлей и направилась вперед по аллее.

Дорогой она со вниманием рассматривала деревья и говорила об уходе за ними. Искусство лесоводства, по ее словам, теперь находилось в упадке, как и многие другие занятия, требующие терпения и внимания и предоставленные второстепенным исполнителям.

Дедушка Барбары, муж леди Кастерлей, сам занимался этим делом, поэтому в Каттоне, в ее имении в Равентэме на деревья стоит посмотреть. А здесь, в Монкленде, все страшно запущено. Там

растут, например, чудные экземпляры итальянских кипарисов, но в каком они виде теперь?..

Барбара слушала ее, лениво улыбаясь, занятая своими собственными мыслями. Старушка была так забавна со своей энергичной речью и грубоватыми выражениями, к которым она любила прибегать порой, точно желая показать, что она может позволить себе эту вольность, когда найдет нужным. Вообще, ее речь отличалась решительностью, такой же, как и ее характер, хотя никто, когда этого требовалось, лучше ее не умел вести изысканного, светского разговора.

Они вышли на тропинку, которая шла через луга и спускалась прямо к коттеджу миссис Ноэль. Луг, усеянный цветами, покрытыми утренней росой, блестел, точно усыпанный брильянтами. Воздух был напоен ароматом травы и цветов, и, казалось, среди этой торжествующей природы грустить было невозможно.

Барбара и леди Кастерлей миновали первое поле и у самого выхода увидели пасущуюся гнедую кобылу, которая подняла голову и насторожила уши при их приближении. Они перешли дорогу и пошли по лугу. На половине дороги Барбара вдруг обернулась и спокойно сказала:

— Бабушка… бык!

Действительно, огромный бык находился на расстоянии двухсот ярдов от них позади группы кустарника. Он медленно двигался к ним навстречу, и это огромное животное с сильно развитой шеей и большой головой казалось настоящим воплощением грубой силы.

— Я не привыкла к быкам! — ответила леди Кастерлей.

Идите спокойно к изгороди, бабушка… Когда вы перейдете на другую сторону, то я приду к вам.

— Ни за что! Мы пойдем вместе. Не обращай внимания на него, Барбара. Я верю в этот способ.

Теперь бык направлялся прямо к ним.

— Не смотри на него! — все повторяла леди Кастерлей. Она шла теперь так быстро, как никогда. — Далеко еще до изгороди?

— Шагов десять не более.

Вдруг старушка почувствовала сильный толчок и очутилась за изгородью. По другую сторону оставались Барбара и бык, находившийся от нее на расстоянии не более двух шагов. Леди Кастерлей выхватила носовой платок и замахала им. Бык остановился и в изумлении посмотрел на платок, а Барбара в это время перелезла через изгородь и, тяжело дыша, остановилась возле бабушки.

Бык с шумом втягивал в себя воздух, взрывая копытами землю.

— Ты не ушиблась, дитя? — спросила леди Кастерлей.

— Ничуть, — отвечала Барбара. Голос ее звучал спокойно, но она дышала прерывисто. Леди Кастерлей обняла ее голову и прижала к себе.

Барбара горячо поцеловала ее дрожащими губами.

Леди Кастерлей тяжело опираясь на ее руку, пошла дальше.

Барбара озабоченно взглянула на нее.

— Бабушка вы очень испугались! Вы, ведь ничего не повредили себе?

— Ничуть. — отчеканила старуха.

— Однако, вы, быть можете, не достаточно спокойны, чтобы видеться с ней?

Леди Кастерлей приложила носовой платок к своим дрожащим губами и проговорила:

— Я совершенно спокойна.

— В таком случае, дорогая, постойте минутку, пока я очищу вам платье сзади.

Когда коттедж миссис Ноэль показался среди зелени, леди Кастерлей сказала:

— Я должна вмешаться в это дело… Для такого человека, как Мильтоун, это совершенно не

допустимо. Я надеюсь, что он будет со временем первым министром… Что ты бормочешь там?..

— Я говорю, стоит ли нам стремиться к чему-нибудь, если мы не можем любить того, кого хотим.

— Любить? Я говорю не о любви, а о браке.

— Я рада, что вы допускаете разницу, милая бабушка.

— Перестань насмехаться и лучше выслушай меня. Нелепо думать, что люди, принадлежащие к нашему кругу, свободны делать то, что хотят. И, чем раньше они поймут это, Баб, тем лучше для них. Я говорю с тобой совершенно серьезно. Сохранение нашего положения, как класса, зависит от того, будем ли мы соблюдать известные приличия. Как думаешь ты, какая судьба постигла бы королевскую семью, если бы ее членам позволено было жениться так, как они хотят? Все эти браки с певичками, с американскими миллиардершами, женщинами, имеющими прошлое, и писателями, в высшей степени вредны для класса. Они представляют слишком частое явление теперь, и надо этому положить конец. Пожалуй, если в такой брак вступают ничтожные, тупоголовые молодые люди или так называемые «новые женщины», то это еще полбеды. Но для Евстафия и для

тебя, Барбара, возможен брак только в пределах собственного класса… Я поговорю с этой почтенной особой и постараюсь, чтобы она больше не запутывала Мильтоуна.

Леди Кастерлей была так увлечена собственным красноречием, что совершенно не замечала, как странно улыбалась внучка, слушая ее рассуждения.

— Милая бабушка, вы бы постарались переубедить саму природу!..

Эти слова поразили старуху. Она остановилась и пристально посмотрела на молодую девушку.

— Что ты хочешь этим сказать, Барбара? Объясни…

Но Барбара только сжала губы, и леди Кастерлей, слегка ударив ее по руке, пошла дальше.

Глава XII

Леди Кастерлей угадала верно: миссис Ноэль уже встала и гуляла в саду, когда Барбара и ее бабушка подошли к калитке. Но миссис Ноэль находилась в другом конце, около липового дерева, и поэтому не слышала слов, которыми они обменялись у входа.

— Бабушка, вы будете вежливы с ней.

— Это зависит…

— Вы же обещали!

— Гм…

Леди Кастерлей не могла предвидеть лучшего приема, какой был оказан ей обитательницей коттеджа. Что касается Барбары, то миссис Ноэль всегда испытывала особенное удовольствие при виде этой девушки, являющейся в ее глазах воплощением «радости жизни», в которой ей самой было отказано судьбой.

Миссис Ноэль пошла к ним навстречу, слегка склонив голову на бок. Она делала это по привычке, без всякой аффектации, но это придавало ей особенную прелесть. Барбара, никогда и нигде не стесняющаяся, сразу заговорила:

— Вы знаете, мы встретились с быком!.. Это моя бабушка, леди Кастерлей… Несколько резкие, властные манеры леди Кастерлей как-то сразу смягчились, когда она увидела нежное, кроткое личико молодой женщины, поклонившейся ей. Проницательный взгляд старушки сразу заметил, что перед ней была не простая авантюристка. Леди Кастерлей была достаточно светской женщиной и знала, что «происхождение» далеко уже не так ценится теперь, как в ее время. Даже деньги не составляют всего! Привлекательная наружность, хорошие манеры и образованность часто ценятся в обществе выше всего другого. А миссис Ноэль, по-видимому, обладала всеми этими качествами. Она была очень мила, скромна и приветлива.

— Здравствуйте, — сказала ей старуха. — Я уже слышала о вас… Можем мы посидеть у вас в саду немного. Этот бык ужасно напугал нас.

Но, говоря это, леди Кастерлей не без смущения чувствовала, что миссис Ноэль сразу разгадала, зачем она явилась к ней. Она видела даже, что миссис Ноэль, несмотря на выражения сочувствия, не верит рассказу о быке. Это было неприятно. К чему Барбара упомянула о быке? Тогда леди Кастерлей решила, что называется,

«схватить быка за рога».

— Баб, — сказала она, — пойди в гостиницу и закажи мне экипаж. Назад я поеду… Я чувствую слабость и не могу идти пешком…

Миссис Ноэль предложила послать свою служанку, но леди Кастерлей поспешно возразила:

— Нет, нет, моя внучка сама пойдет туда.

Барбара ушла, бросив на бабушку насмешливый взгляд.

Леди Кастерлей опустилась в садовое кресло и обратилась к миссис Ноэль:

— Сядьте возле меня. Мне надо поговорить с вами.

Миссис Ноэль повиновалась, Леди Кастерлей поняла, что ей предстоит нелегкая задача. Она не ожидала встретить женщину, с которой нельзя будет позволить себе никаких вольностей. Это приводило ее в смущение. Она не могла отрицать, что миссис Ноэль была скромна и изящна, и манеры ее были безукоризненны. В ней было что-то, недопускавшее никакой фамильярности. Она сидела, гордо выпрямившись, и ждала, что леди Кастерлей заговорит, ничуть не желая облегчить ей задачу. Леди Кастерлей в замешательстве прижала платок к губам.

— Мне кажется, — сказала она, наконец, — что

вы не верите нашей истории с быком? — Нет, отчего же, — вежливо возразила миссис Ноэль.

— Впрочем, это не важно. Мне надо поговорить с вами о другом.

Лицо миссис Ноэль слегка искривилось, но она ничего ни сказала. Леди Кастерлей терла платком губы, но слов не находила.

— Я старуха, — проговорила она в смущении. — Вы не должны обижаться на меня за то, что я скажу.

Миссис Ноэль ничего не ответила и только взглянула на леди Кастерлей, но этот взгляд заставил старуху беспокойно заерзать на кресле. Почему-то взгляд больших, темных глаз миссис Ноэль напомнил ей ребенка, которого обидели, и у нее невольно вырвалось:

— Я не хочу обижать вас, дорогая моя… Я хочу только поговорить с вами о моем внуке…

Но миссис Ноэль продолжала молчать, и это молчание начало раздражать леди Кастерлей, как раздражала ее всякая неожиданность, приводившая ее в смущение.

— Его имя постоянно соединяется с вашим, — проговорила она резко, — и это может повлечь для него большие неприятности. Я надеюсь, вы не желаете ему вреда?

Миссис Ноэль отрицательно покачала головой, и леди Кастерлей продолжала:

— Не знаю, чего только не говорят с того вечера, как ваш приятель, мистер Куртье, повредил себе колено! Мильтоун поступил в высшей степени неблагоразумно. Вы, может быть, не поняли этого?

— Я не думала, что кто-нибудь настолько интересуется мной, что бы обращать внимание на мои поступки…

В ее ответе слышалась горечь. Леди Кастерлей невольно воскликнула:

— Боже мой! Да, ведь, все обыкновенные люди всегда интересуются женщиной, положение которой аномально. Вы живете одна, хотя вы не вдова, и естественно, что вы служите удобной мишенью для злословия, особенно здесь в провинции.

Взгляд миссис Ноэль как будто говорил: «И для вас также».

— Я не имею права расспрашивать вас относительно вашей истории, но, если вы окружаете себя тайной, то должны понимать, что это будет истолковано в дурную сторону. Мой внук — человек высоких принципов. Он не смотрит на вещи глазами обыкновенных людей, и это долж-

но было бы заставить вас особенно тщательно заботиться о том, чтобы не компрометировать его, особенно в такое время, как теперь. Миссис Ноэль улыбнулась, и эта улыбка окончательно сбила с толку леди Кастерлей. Она чувствовала, что в этой женщине скрывается сила и что она не выдаст себя.

— Ничего серьезного, разумеется, тут не может быть? — резко сказала леди Кастерлей.

— Разумеется.

Но это слово, которое должно было бы успокоить леди Кастерлей, в сущности, было произнесено таким тоном, что она не знала, что оно означает. Хотя сама леди Кастерлей и прибегала порой к иронии, но она терпеть не могла, когда это делали другие, тем более женщины. Им нельзя было дозволять пользоваться этим оружием. Но в современную эпоху, когда женщины так безумны, что требуют для себя избирательных прав, никогда нельзя знать, чего они, в сущности, добиваются!

Впрочем, миссис Ноэль не была похожа на «новых женщин». В ней было много женственности, очень много! Она, очевидно, была из того сорта женщин, которые покоряют мужчин своею мягкостью… Леди Кастерлей пришла сюда с твердой

решимостью выяснить все и «положить конец». Но она должна была сознаться, что ничего не достигла и поэтому даже обрадовалась, когда увидела Барбару.

— Я могу теперь идти домой, — сказала она и, поднявшись с кресла, поклонилась миссис Ноэль. — Благодарю вас, что вы дали мне возможность отдохнуть у вас. Дай мне руку, дитя мое.

Барбара взяла ее под руку и ласково улыбнулась миссис Ноэль. Но та не улыбнулась в ответ. Ее глаза смотрели спокойно и серьезно вслед уходящим.

Леди Кастерлей молчала, стараясь преодолеть свое волнение.

Барбара вернула ее к действительности:

— Что насчет экипажа, бабушка?

— Какого экипажа?

— Который вы мне велели заказать.

— Ведь ты же не могла принять в серьез мое поручение?

— Нет, конечно…

Они шли молча некоторое время, потом леди Кастерлей заговорила:

— Она непроницаема.

— И темна. — Поддержала Барбара. — Боюсь, что вы не были ласковы с ней!..

Леди Кастерлей бросила на нее недовольный взгляд.

— Терпеть не могу этой манеры у современной молодежи ни к чему не относиться серьезно.

Барбара откинула назад голову и комично вздохнула.

— Даже к приказаниям насчет экипажей, — заметила она.

Леди Кастерлей посмотрела на нее сбоку и невольно подумала:

— Как она красива!.. Я никогда не думала, что она будет так красива. Только она… немного… крупновата…

Но вслух она сказала только:

— Закрой рот. Иначе ты можешь проглотить кого-нибудь.

Барбара не отвечала, и они молча пошли дальше.

Вдруг леди Кастерлей резко спросила:

— Кто это там идет по дороге?

— Мистер Куртье… кажется.

— С больной ногой?

— Он идет сюда, чтобы поговорить с вами, бабушка…

Леди Кастерлей сразу остановилась.

— Ты лукава, как кошка, Баб, — сказала она. —

Но имей в виду, что я вовсе не желаю, чтобы он попадался мне…

— Нет, голубушка, — прошептала Барбара — он вам не попадется, я его избавлю от этого!

— Барбара, — воскликнула леди Кастерлей. — Что думает твоя мать воспитывая тебя таким образом! Ведь ты такая же легкомысленная, какой была она в твои годы!

— Хуже, — отвечала Барбара. — Мне снилось сегодня, что я могу летать.

— Если ты вздумаешь попробовать это, то наверняка жестоко поплатишься за это, — проговорила мрачно леди Кастерлей. — Здравствуйте, сэр. Вам бы следовало находиться в кровати…

Куртье приподнял шляпу.

— Уж, конечно, мое место не там, — сказал он и прибавил угрюмо, — агитация за войну закончилась.

— Ах, — воскликнула леди Кастерлей, — значит, и вам тут больше нечего делать? Вероятно, вы теперь вернетесь в Лондон?..

Внезапно взглянув на Барбару, леди Кастерлей заметила, что у девушки глаза были полузакрыты и она улыбалась. Леди Кастерлей показалось даже, будто она покачала головой…

Глава XIII

Благодаря леди Валлейс, покровительнице птиц, ни одна сова не была застрелена в ее владениях, и эти ночные птицы сильно расплодились в Монкленде. С наступлением сумерек окрестные рощи наполнялись их унылыми криками. Они летали в темноте мимо коттеджей и ферм, но особенно много их было вокруг коттеджа миссис Ноэль, где, по-видимому были их гнезда.

Вечером того же дня, когда леди Кастерлей посетила коттедж, Одри Ноэль долго сидела у окна, как будто прислушиваясь к крику сов, раздававшемуся в темноте, в ее саду. Только этот крик и нарушал ночную тишину, да изредка доносился лай собаки откуда-то издалека.

Накинув на голову кружевной шарф Одри Ноэль медленно спустилась с крыльца и, пройдя через сад, вышла на дорогу. Какое-то смутное беспокойство гнало ее из дому. Она шла между изгородями, тянувшимися вдоль дороги, и над ее головой пролетали ночные птицы. Целые стаи их носились в воздухе и шум их крыльев заставлял ее порой вздрагивать и останавливаться.

Она блуждала без цели, проходя мимо коттеджей, в окнах которых кое-где виднелся свет, мерцавший сквозь зелень, и точно искала успокоения среди этой темноты и тишины для своего взволнованного, горячего сердца. Эта ночь, наполненная шорохом невидимых крыльев, была символом того, что происходило в ее душе, ее тайных стремлений, ее страстного желания вырваться из тисков, наложенных на нее жизнью…

В Монкленд, за исключением маленькой Энн, все были особенно не разговорчивы и угрюмы в этот день. Каждый чувствовал, что надо что-то сделать, но что, — этого никто не знал. Только во время ланча Гарбинджер обратился с вопросом, в котором заключался намек на положение вещей:

— Когда вернется Мильтоун?

— Он телефонировал, что отправляется, и, должно быть, провел ночь на своем автомобиле…

— Чем скорее он вернется, тем лучше, — проговорил сэр Вилльям. — У нас остается только две недели…

По тону, каким были сказаны эти слова, можно было заключить, что он считает положение серьезным.

Во всяком случае, прекращение опасений войны и слух, пущенный насчет миссис Ноэль, могли повредить кандидатуре Мильтоуна.

Вечерняя почта принесла письмо от лорда Валлейс, на котором была пометка «экстренно».

Леди Валлейс с легкой гримасой распечатала конверт, но по мере того, как она читала, ее лицо становилось все более и более серьезным, и на нем появилось столь несвойственное выражение печали.

«Евстафий заявил мне о своем намерении жениться на этой миссис Ноэль, — писал лорд Валлейс, — и я не вижу, к несчастью, каким способом я мог бы помешать ему выполнить это намерение. Если ты можешь найти какое-нибудь законное средство и возможность разубедить его, то попытайся сделать это.»

Действительно, положение дел было серьезное. Если Мильтоун решил жениться, ничего не зная о слухах, распространяемых на его счет, то разве он изменит свое решение теперь? Но в леди Валлейс заговорила светская женщина. Такой брак допустить нельзя! Он противоречит практическому смыслу.

Леди Валлейс была в высокой степени практичной женщиной и только благодаря этому

могла удерживать в границах свою пылкую натуру, свое влечение к любви и наслаждениям. Ее практический смысл указывал ей, что эта сторона ее характера может повредить ей, так как ее жизнь находится слишком на виду у общества. Но именно потому, что она сознавала эту опасность для себя, она так боялась ее для своего сына, как общественного деятеля. Такой брак, конечно навредит ему в общественном мнении. Однако, это известие и в другом отношении больно укололо ее материнское самолюбие. Она никогда не была так привязана к Евстафию, как к Берти, хотя Евстафий был ее первенцем. Но, тем не менее, она испытывала в эту минуту ревнивое чувство, узнав о том, что «эта женщина» завладела сердцем ее сына, тогда как она, его мать, никогда не могла приобрести его любовь.

Сердечная боль, испытываемая ею, придала ее лицу более одухотворенное выражение, чем то, какое она имела всегда. Впрочем, это скоро сменилось раздражением.

«Зачем ему жениться на этой женщине? — думала она. — Можно было бы и без этого уладить дело. Ведь, уже и так все говорят о незаконной связи! Так пусть же эта ложь будет правдой. Но даже если произойдет самое худшее и Евстафий

провалится на этих выборах, то, ведь, роспуск парламента не за горами, и, еще много есть других округов. Лучше все что угодно, чем такой брак, который на всю жизнь связал бы его и придавил бы своей тяжестью.

Впрочем… может быть, это не так плохо. Ведь красота много значит и ценится в обществе. Если только ее история не слишком предосудительна… Однако, кто же знает ее историю? Не знать о ней ничего просто глупо. Самое неприятное, что всегда так трудно бывает разузнать что-нибудь о людях, не принадлежащих к обществу…»

И в душе леди Валлейс быстро нарастало раздражение, легко появляющееся у людей, воспитанных в том убеждении, что они одни только и составляют весь мир. В таком настроении леди Валлейс прочла письмо и передала его дочерям, которые, прочтя его, в свою очередь, передали его брату.

Берти прочитал письмо и молча вернул матери. Никто из членов семьи не высказал своего мнения об этом. Но вечером в бильярдной комнате, Барбара постаралась подстроить так, чтобы Куртье остался с ней, и тогда сказала ему.

— Я хотела бы знать, мистер Куртье, ответите ли вы мне на один вопрос?..

— Если только я могу и имею право ответить…

Она стояла перед ним, облокотившись спиной на бильярд, удивительно красивая в своем вечернем бледно-зеленом платье, с низко вырезанным лифом, окруженная сиянием своих пышных, золотисто-рыжих волос.

— Мы только что услышали, что Мильтоун собирается просить руки миссис Ноэль. Люди никогда не окружают себя тайной, если только не имеют на то важных причин. Я бы хотела, чтобы вы мне сказали, кто она такая?

— Я не совсем понимаю в чем дело… Вы говорите, он хочет жениться на ней?

Видя, что Барбара сделала движение рукой, как будто умоляя его сказать ей правду, он прошептал:

— Как же ваш брат может жениться на ней, когда она уже замужем?

— О!

— Я не думал, что вам это неизвестно.

— Мы полагали, что она разведена.

На лице Куртье появилось выражение забавного недоумения и насмешки, и он воскликнул:

— Вечная история. Стоит хорошенькой женщине жить одной, чтобы людские языки начали работать…

— Не так уж много и говорят, — сухо возразила Барбара. — Говорят только, что она развелась с мужем.

Задетый за живое ее замечанием, Куртье закусил губы.

— Лучше вам узнать теперь же ее историю, — сказал он, наконец. — Ее отец был сельским священником, приятелем моего отца. Поэтому я знал ее ребенком. Ее будущий муж — Стефен Линс Ноэль был там викарием. Это был неудачный брак. Ей было двадцать лет, когда она вышла за него замуж, и вряд ли она бывала в каком-нибудь обществе до своего брака и видела каких-нибудь мужчин. Отец был очень болен и думал только о том, как бы ее пристроить до своей смерти. Хорошо! Как и многие люди, она быстро поняла, что сделала большую ошибку…

— А что был за человек ее муж? — спросила Барбара.

— В своем роде неплохой, но один из тех узких, тупоголовых упрямцев, добросовестных исполнителей своего долга, которые в то же время являются самыми невыносимыми мужьями и до мозга костей эгоистами.

Пастор такого типа совершенно невыносим, и его профессия только способствует развитию

худших сторон его характера. Положение жены такого человека не лучше рабыни. Она начала, наконец, изнемогать, хотя она из тех, которые готовы нести свое бремя до тех пор, пока не свалятся под его тяжестью. Но все же прошло четыре года прежде, чем он убедился, что так не может продолжаться.

Весь вопрос был в том, как быть дальше? Он представитель англиканской церкви, насквозь проникнутый всеми ее чувствами и воззрениями. Но, по счастью, его гордость была уязвлена, и он согласился на раздельное проживание.

Они расстались два года тому назад, и она осталась одинокой и тоскующей. Люди обвиняют ее, говорят, что она должна была понимать, что она делает. Это в двадцать то лет? Она должна была все терпеть и молчать. Будь они прокляты эти жалостливые люди с толстой шкурой. Что они знают о страданиях тонкой женской души?.. Простите меня леди Барбара, я не могу равнодушно говорить об этом.

Он замолчал, потом, заметив, что она не спускает с него глаз, снова заговорил:

— Ее мать умерла, когда она родилась, а ее отец умер вскоре после ее брака. К счастью, у нее есть собственные средства, и она может жить спокой-

но. Муж ее сменил приход и уехал куда-то вглубь страны. И его жалко, беднягу! Они больше не виделись друг с другом и, насколько мне известно, даже не переписываются. Вот, леди Барбара, и вся история.

— Благодарю вас, — громко сказала Барбара, — но он услышал, как она прошептала: «какой стыд!»

К чему относились эти слова: к судьбе ли миссис Ноэль или к судьбе ее мужа, или же они вырвались у нее под влиянием мыслей о Мильтоуне, — этого Куртье не мог угадать. Она поражала его умением владеть собой. Своих чувств она не выдавала никому. Какая бы женщина вышла из нее, если бы не эта проклятая иссушающая душу жизнь высшей касты, заключавшая ее в определенные рамки и превращающая ее в стереотипы? Если бы энтузиазм мог проникнуть в ее душу и дать ей плодотворное содержание! Она напоминала ему большой красивый цветок. Если бы этот цветок мог освободиться от своих корней, от почвы, на которой он вырос и свободно носился бы в воздухе! И ему казалось, что он присутствует при этом чуде…

Облокотившись на подоконник, он всматривался в темноту. Он слышал, как кричали совы

и ощущал биение сердца великой природы. В ночной тиши он искал ответа и не находит его. Может ли эта девушка этот цветок, выросший на определенной почве, — отделиться от окружающих условий настолько, чтобы слиться с душою человечества: страдать, любить и чувствовать вместе с другими, обделенными судьбой?

Куртье не был в церкви, по крайней мере, лет двадцать. Он чувствовал, что должен был бы оставить у входа в храм свое свободомыслие, подобно тому, как мусульмане оставляют у входа в мечеть свои башмаки. И теперь ему припомнилось почему-то изречение из Священного Писания: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богачу войти в царство небесное».

Вглядываясь в ночную тьму, заключавшую в себе, казалось, ответы на все вопросы, разгадку всех тайн, он думал о девушке, только что разговаривавшей с ним, и пытался угадать ее дальнейшую судьбу, мысленно проследить ее жизненный путь…

Глава XIV

Номер местной газеты, содержащий описание вечернего приключения Мильтоуна, получен им был в тот момент, когда он собирался в обратный путь. Статья была обведена синим карандашом, чтобы обратить на себя его внимание, и на ней была сделана приписка: «Дорогой Евстафий, то, что заключается в этой статье, заслуживает внимания, несмотря на свою наглость и необоснованность. Но мы не предпримем ничего, пока ты не вернешься. Твой Вилльям Шроптон».

По всей вероятности, впечатление от этой газетной статьи получилось бы совсем другое, если бы Мильтоун не решил окончательно просить руки Одри Ноэль. Впрочем, и при других обстоятельствах он, пожалуй, только улыбнулся бы, и разорвал бы газету. Такие пустяки не имели власти над ним, не могли расстроить его, поэтому он и не в состоянии был понять, как могло это встревожить или взволновать других? Ели же те, кто прочел это, чувствуют себя задетыми, то тем хуже для них!

Он питал истинное отвращение к ничтоже-

ствам, к какому бы классу они не принадлежали, и ему никогда не пришло бы в голову изменить свой образ действий и, хотя бы на одну йоту уклониться в сторону от раз намеченного пути, в угоду чьей-либо досужей фантазии. Но ему также не приходило в голову, что миссис Ноэль может страдать от пошлых разговоров и сплетен. Они, казалось, не могли ее достигнуть; она была защищена от них тем лучезарным сиянием, которым он окружил ее в своем воображении.

Поэтому приписка Шроптона вызвала у него только мимолетное чувство досады. Так похоже на Вильяма Шроптона придавать значение пустякам!

Мильтоун совсем не спал во время своей ночной поездки и, даже приехав домой, не лег в постель. Он испытывал странный подъем чувств, как человек, находящийся накануне важного решения, и естественно не мог оставаться спокойным. Он выпил чашку чая и пошел бродить.

Одри Ноэль тоже встала очень рано, хотя накануне поздно легла в постель. Она чувствовала нравственную подавленность, но гордость заставляла ее скрывать это. Ей была неприятна мысль, что ее страдание может заставить страдать других. Она оделась так же тщательно, как

всегда и посмотрелась в зеркало, испытывая более неприятное чувство, чем обыкновенно. Она не доверяла своей наружности и никогда не была довольна собой; но в это утро она более, чем когда-либо, сомневалась в себе, в своей привлекательности.

А, между тем, она нуждалась в любви, как растение в воде, и могла беззаветно отдаваться своему чувству, но душа ее была не подкупна. Всегда и во всех случаях она видела все с чрезвычайною ясностью и не поддавалась никаким иллюзиям.

Покончив со своим туалетом, она сошла вниз, в свою маленькую столовую, и зажгла спиртовую лампочку, чтобы приготовить чай. Она более всего любила ранние утренние часы и всегда торопилась сойти в сад, чтобы поскорее увидеть, какие цветы распустились за ночь. Она с любовью ухаживала за ними. Цветы заменяли ей семью, и среди них она не чувствовала себя такой одинокой.

Впрочем, как и все люди, ведущие одинокую жизнь, она не так резко чувствовала свое одиночество по утрам, как в течение дня, когда ей приходилось убеждаться в этом, поэтому то она и любила больше всего утренние часы. Ее нельзя было назвать праздной. Куртье достал для нее ра-

боту в одном женском журнале, для которого она писала музыкальное обозрение. Цветы, музыка и посещение знакомых, наполняли почти все ее время. Это вполне удовлетворяло ее. Она была рада, что каждая минута была у нее занята, и не требовала большего от судьбы, так как подобно всем пассивным натурам она с особенной любовью занималась тем, что не требовало от нее большой подготовки и напряжения ума.

Она держала в руках газету, дожидаясь, пока закипит вода, потом бросила ее и, вытащив из букета цветов, стоящего на столе, две веточки лаванды, спустилась в сад и швырнула их через забор. Это был странный поступок, и меньше всего можно было ожидать подобное от нее, всегда так щепетильно относившейся к чувствам других людей и боявшейся их оскорбить. Ветки только что расцветшей лаванды были сорваны ее горничной, заметившей любовь своей госпожи к цветам и поэтому приготовившей к ее приходу свежий букет, поставленный на стол в столовой. Это было деликатное внимание простой служанки, не знавшей, что миссис Ноэль не могла выносить запаха лаванды, любимых духов ее супруга, которыми всегда были надушены его носовые платки и платье.

Этот запах всегда вызывал у нее воспоминание о человеке, жизнь с которым была для нее сплошным мучением. И теперь в ее памяти встали картины прошлого. Как упорно старалась она в течение трех лет закрывать глаза и не хотела сознавать, что обречена быть несчастной всю жизнь! Она вновь переживала момент окончательного разрыва.

Она уехала, чтобы привести в порядок свои расшатанные нервы, и два раза в течение года меняла свое местожительство. Ей хотелось уйти подальше от своего прошлого, но не потому, чтобы она стыдилась его, а, чтобы забыть о нем, о своем несчастие. И вот она попала в Монкленд. Тихая, уединенная жизнь, мало по малу, вернула ей душевное спокойствие. Затем она встретилась с Мильтоуном.

Какую неожиданную радость доставило ей знакомство с ним. Первые четыре месяца она спокойно наслаждалась его обществом, не задумываясь ни о чем. Она вспоминала тайное чувство радости и веселья, неизменно охватывавшее ее, когда он приходил, еще до того, как она стала подозревать, что любит и любима. И как раз три недели тому назад, когда он, помогая ей связывать букеты роз, коснулся ее руки, она

поняла это. Но она не решалась думать об этом до той ночи, когда произошло это злополучное происшествие.

Теперь ее больше тревожила мысль о нем, нежели о себе, и она тысячу раз спрашивала себя сделала ли она что-нибудь достойное осуждения? Ведь, она же допустила развитие его чувства, зная то, что она, вычеркнутая из жизни, мертвая женщина! Это — непростительное преступление с ее стороны. Впрочем, все будет зависеть от того, чем она готова заплатить за это. В этот момент она искренне готова была отдать все и не требовать взамен ничего. Ведь, он знает ее положение, по крайней мере, он сказал ей, что знает. Из любви к нему она готова страдать и никогда не пожалеет об этом. Эта любовь составляла ее гордость, ее счастье и она не хотела от нее отказываться…

Мильтоун был прав, что газетная сплетня не может задеть ее, хотя он совершенно иначе объяснял себе ее нечувствительность к этому. Мильтоун не обращал внимания на такие инсинуации, потому что считал это ниже своего достоинства и находил в высшей степени пошлым и вульгарным вмешательство в частную жизнь другого человека.

Но ей никогда не приходило в голову взгля-

нуть на это с такой надменной точки зрения. Ее не задевало это только потому, что душа ее уже была собственностью Мильтоуна, и она с радостью готова была отдать ему всю себя. Но все же она огорчилась за Мильтоуна. Блеск его имени померк в глазах людей, и, может быть… (ее практичность заставляла ее прямо смотреть на вещи) это отразится на его карьере, и кто знает, на сколько лет отодвинется осуществление его политических планов.

Она села к столу и начала пить чай. Она не принадлежала к числу плаксивых женщин и страдала молча. Она чувствовала, что Мильтоун придет к ней, но не знала, что ей сказать ему. Он не может так дорожить ею, как она им. Он мужчина, а мужчины скоро забывают… Но нет, он не такой, как другие!

О своей собственной репутации она совсем не думала. Жизнь отняла у нее способность ясно смотреть на вещи и вселила в нее убеждение, что ценность репутации женщины представляет фикцию, изобретенную мужчинами для собственной выгоды. Это своего рода фетиш, коварным и неизбежным образом выдвигаемый мужчинами для поддерживания культа во всех своих произведениях, в литературе, в театре и

судебных процессах.

Она инстинктивно чувствовала, что мужчина не будет спокоен, если он не будет уверен в том, что женщина придает громадное значение своей репутации. А то, чему они хотят верить, тому они и верят! Но Одри Ноэль знала другое. Она встречала умных женщин с широкими взглядами, читала о них в книгах и чувствовала, что для них репутация представляет нечто отвлеченное и не имеет какого-то особого значения. Что же касается ее самой, то в ее глазах имела значение только та репутация, которой она обладала в глазах тех, кого любила.

Она прекрасно видела, что в высшем свете репутация имеет рыночную, а не постоянную ценность и отнюдь не служит действительным доказательством добродетели и достоинства.

Миссис Ноэль не боялась того, что скажут люди о ее дружбе с Мильтоуном. Ни одной минуты не думала она также, что ее брак, который она порвать не могла, запрещает ей любить его. Она почувствовала себя свободной с этой минуты, как только убедилась в том, что никогда в действительности не любила своего мужа. Она старалась исполнять свой долг вплоть до самой разлуки, вследствие чистой пассивности своего характера

и оттого, что причинять страдание кому-нибудь было противно ее натуре.

Теперь же тот человек, который был некогда ее мужем, умер для нее. Он как будто никогда не существовал. Правда, она не могла выйти снова замуж, но она могла любить и любила. Если же ее любви суждено оставаться бесплодной, то уж никак не потому, чтобы ее удерживали какие-либо моральные соображения.

Она медленно развернула газету, и первое, что она прочла под заголовком: «Новости выборной агитации», было следующее: «Кстати, по поводу оскорбления, которому подвергся мистер Куртье, мы уполномочены заявить, что леди, устремившаяся ночью вместе с лордом Мильтоуном на выручку к мистеру Куртье, была миссис Линс Ноэль, жена его преподобия Стефена Линса Ноэль, викария в Класемитоне».

Эти строки, как будто имевшие целью обелить ее, вызвали только грустную улыбку на ее устах. Она бросила чай и вышла в сад. По дороге шел Мильтоун… Сердце у нее болезненно сжалось, но она совладала с собой и спокойно вышла к нему навстречу как будто ничего не случилось…

Глава XV

Мильтоуна не покидало экзальтированное состояние. Его всегда бледное лицо теперь горело и глаза блестели, что придавало им особенную красоту. Одри Ноэль почувствовала тайную радость при взгляде на него, но наружно сохраняла спокойствие и проговорила своим обыкновенным голосом:

— Вы пришли к завтраку? Как это мило с вашей стороны!

Не в характере Мильтоуна было соблюдать какие-либо формальности. Даже если бы ему пришлось драться на дуэли, он приступил бы к делу без всяких прелюдий: взглянул, поклонился и скрестил бы шпаги. Так и теперь. Явившись к миссис Ноэль, он даже не присел и не дал ей сесть, а, стоя перед ней и пристально глядя ей в глаза, сказал:

— Я вас люблю.

Несмотря на внезапность такого признания, она не чувствовала себя ошеломленной. Как будто все так и должно было быть! Уверенность в том, что он ее любит, сразу прогнала все ее сомне-

ния и страхи. Может ли она быть несчастлива после этого. От природы не способная понимать значение чего либо другого, кроме любви, она испытывала ощущение тайного торжества, думая о том, что он любит ее. И она его любит. Потом вдруг ей стало страшно, что он возьмет свои слова назад. Тогда, положив ему руки на грудь, она произнесла:

— И я люблю вас.

Держа ее в своих объятиях, он смотрел в ее глаза, такие темные и глубокие, и ему казалось, что никогда ничьи глаза не могут быть такими. Он читал в них любовь к нему, и от волнения не мог выговорить ни слова. Они стояли обнявшись, и весь остальной мир перестал существовать для них в эту минуту. Он ощущал биение ее сердца, прижимая ее к своей груди, вдыхал нежный аромат ее пышных волос и касался ее губ своими губами. Он видел в ней воплощение женщины, которая являлась ему в грезах, и боялся выпустить ее из своих объятий, чтобы не нарушить очарования.

Так прошло мгновение.

Пчела, летавшая около цветов, стоящих в хрустальной вазе, наконец, покинула их и, покружившись около головы Одри Ноэль, запуталась в

ее волосах. Она откинула голову и тогда увидела, что он хочет ее спросить о чем-то. Она тотчас же прижала свои губы к его губам, но ужасные слова, которых она больше всего боялась, все-таки вырвались у него:

— Когда вы выйдете за меня замуж?

На мгновение все померкло в ее глазах. Зато с удивительной быстротой она оценила сложившуюся ситуацию и с какой-то сверхъестественной проницательностью заглянула в будущее. Она вспомнила какие-то вскользь сказанные им слова, когда они разговаривали об отношении церкви к браку и разводу. Тогда она не обратила на них внимания, но теперь они все объяснили ей. Значит, в действительности, он ничего не знал о ней. Людские языки развели ее с мужем, и он поверил этому. Ей казалось глубокой иронией то, что он хотел жениться на ней, тогда как она уже чувствовала себя его собственностью и готова была отдаться ему без всяких формальных условностей.

В первый раз в душу ее закралась ненависть к человеку, который стоял между ней и Мильтоуном, и это чувство было так сильно, что она готова была разрыдаться. Этот человек овладел ею, когда она не знала ни жизни, ни собственной

души, и навеки связал се с собой. Быть может, судьба вернет ей свободу, но лишь тогда, когда волосы ее поседеют, когда в глазах ее померкнет огонь любви и никому больше не будет до нее дела…

Именно это чувство внезапного возмущения, которое охватывает узника, потерявшего надежду освободиться, заставило ее вдруг взять газету и протянуть ее Мильтоуну.

Он прочел указанные строки. Наступило молчание, которое, казалось, длилось целую вечность.

Наконец, он сказал:

— Это правда?

Она ничего не ответила.

— Я очень огорчен, — проговорил он, и эти краткие, простые слова были ужаснее всего, что ей приходилось слышать когда-либо. Ей было бы легче, если бы у него вырвался крик возмущения или горя.

Она смотрела на него, с трудом переводя дыхание, и ей казалось странным, что там, в саду, по-прежнему жужжат пчелы, чирикают птицы, цветы издают свой аромат и все живет и движется, горюет и радуется, не взирая на нее, на ее несчастье… Затем к ней вернулись мужество и вместе с ним ее женская гордость. Теперь она

стояла перед ним, безмолвная и прекрасная, и привлекала его к себе своей красотой и молчанием.

Он снова заговорил:

— Я кажется, безумно ошибся?.. Я думал, что вы свободны…

Она чуть слышно прошептала:

— Я думала вы знаете. Мне никогда не приходило в голову, что вы захотите жениться на мне…

Ей казалось вполне естественным, что он думает только о себе в данном случае, но инстинкт самосохранения заставил ее все-таки указать на трагедию своей жизни.

— Я думала… я давно уже привыкла к мысли, что я умерла для новых отношений, — сказала она.

— Разве нет выхода? — спросил он.

— Нет. Никто, из нас обоих не совершил никакого проступка…. При том же… с «ним»… это брак навсегда!

— Ужасно! — вырвалось у него.

С жестокой улыбкой она сказала ему:

— Я не знала, что у вас есть далеко идущие планы относительно меня.

Но тут мужество оставило ее, и слезы хлынули из ее глаз.

Он посмотрел на нее, поняв, наконец, как она страдает.

Она чувствовала, что он борется с собой, чтобы не заключить ее снова в свои объятия, и это чувство вернуло блеск ее глазам, и ее побледневшие губы покраснели.

Она гордо молчала, не делая ни одного движения, чтобы привлечь его, но какая-то тайная сила, словно магнит, влекла его к ней. Это безмолвная, мучительная борьба продолжалась несколько мгновений долгих, как вечность. Наконец, не говоря больше ни слова, он повернулся и вышел…

Она услышала, как захлопнулась калитка.

Он ушел…

Глава xvi

Лорд Деннис удил рыбу. В реке водились маленькие форели; но солнце светило слишком ярко, и поэтому рыба плохо клевала. Однако, он продолжал закидывать удочку и со вниманием следил за движением поплавка. Он любил это занятие. Некогда он считался одним из самых знаменитых рыболовов. Он занимался этим спортом в водах Шотландии и Норвегии, Исландии и Флориды. И теперь, когда он сидел на берегу маленькой речонки, тысячи воспоминаний проносились в его голове. Он удил, не торопясь, с какой-то религиозной сосредоточенностью, и каждая пойманная рыбка доставляла ему чувство удовлетворения.

Он провел уже около часа, сидя в тени деревьев и наслаждаясь прохладой, идущей от воды. Солнечный свет смягчался листвой и поэтому не беспокоил его. В речке много было камней, и забрасывание удочки требовало большого внимания и осторожности. Однако, несмотря на то, что он был всецело поглощен этим занятием, лорд Деннис все-таки расслышал чьи-то тороп-

ливые шаги, приближающиеся в его сторону.

Он слегка поморщился, так как боялся, что непрошенный пришелец вспугнет рыбу, но, подняв глаза, вдруг увидал Мильтоуна, бледного и расстроенного, с блуждающим взором.

Внезапно заметив дядю, Мильтоун остановился и, сделав над собой усилие, вызвал улыбку на лице.

Лорд Деннис был не таким человеком, чтобы видеть то, что ему не надлежало видеть, и поэтому он сказал: «здравствуй, Евстафий», так просто, как будто встретился с ним в одном из лондонских клубов.

Мильтоун ответил на его приветствие и любезно осведомился:

— Я не спугнул ваших рыб, дядя?

Лорд Деннис покачал отрицательно головой и, положив удилище, сказал:

— Садись-ка возле меня, и поболтаем. Ты, ведь, не удишь рыбу, я думаю?

Конечно, лорд Деннис прекрасно заметил выражение страдания на лице Мильтоуна. Годы не ослабили его зрения, а то, что ему самому пришлось выстрадать из-за женщины (эта была давнишняя история) сделало его особенно чутким к страданиям других. В том настроении, в

котором находился Мильтоун он бы, конечно не принял этого приглашения ни от кого другого. Но в личности лорда Денниса было какое-то обаяние, которому противостоять было невозможно.

Поэтому Мильтоун уселся рядом с ним на корнях деревьев, сначала они говорили о том, о сем, потом замолчали, прислушиваясь к пению птиц в лесу. Наконец, лорд Деннис прервал молчание.

— Это местечко, — сказал он, — почему-то напоминает мне произведения Марка Твена. Не могу определить, почему. Может быть потому, что тут все кругом потонуло в зелени. Я люблю таких «вечно зеленых» как Марк Твен и Мередит. Только в мужестве может быть спасение. Но я никогда не мог переварить такого «сильного человека», — командира своей души, — как Генлей, Ницше и т. д. Мне они не по нутру.

— Быть «командиром своей души», это красивая фраза, — заметил Мильтоун.

— Да, красивая, — согласился лорд Деннис.

Мильтоун посмотрел на него и сказал:

— Она подходит к вам…

— Нет, мой друг, — сухо ответил лорд Деннис. — Но, к счастью, это давно миновало…

Его глаза были пристально устремлены на место, где он заметил довольно большую форель,

медленно выплывавшую из-за камней. Он давно подстерегал эту рыбу и теперь внимательно следил за ей. В пальцах он чувствовал зуд, он боялся пошевелиться. Листья ясеня над его головой ласково шелестели, точно из сочувствия.

— Посмотрите-ка на этого ястреба, — вдруг сказал Мильтоун.

Высоко над их головой парил ястреб, как будто с интересом наблюдавший за ними. Временами он казался совершенно неподвижно висящим в воздухе; однако, по легкому колебанию краев распластанных крыльев можно было угадать, что он все время находится в движении.

Лорд Деннис перевел глаза от ястреба на своего племянника. «Мальчик тяжело переносит свое горе, каково бы оно ни было», — подумал он.

В глазах семидесяти шестилетнего старика тридцатилетний Мильтоун все еще был юношей, иначе и не могло быть! Лорд Деннис жалел его. Он из тех, которые, не останавливаются на своем пути, идут, пока не свалятся с ног. Они как будто созданы для горя и — самое худшее, дают себя терзать обстоятельствам жизни. И в уме старика промелькнул образ Прометея, терзаемого орлом. Это была его любимая трагедия, и они много раз вместе с Мильтоуном перечитывали ее по-грече-

ски, заглядывая порой в старый словарь, чтобы постигнуть значение некоторых слов… Да, Евстафий как будто был создан для высот и глубин!..

— Я думаю, ты не хочешь говорить об этом, — спросил он Евстафия.

Мильтоун покачал головой и снова воцарилось молчание.

Ястребу, как видно, надоело смотреть на них, и он, взмахнув крыльями, исчез в прозрачной лазури. За то теперь их с любопытством разглядывал реполов, сидящий на мшистом камне. Послышался всплеск воды.

Лорд Деннис кротко вздохнул.

— Сорвалось… во второй раз, — сказал он.

Он снял шляпу и вынул последнюю наживу. Насадив ее на крючок, он снова забросил удочку.

— Теперь то уж она не уйдет от меня, — сказал он Мильтоуну.

Но Мильтоун уже исчез…

Дальнейшие сведения о миссис Ноэль, сообщенные местной газетой и уже раньше известные Барбаре, распространились в Монкленд — Коурте лишь после того, как лорд Деннис отправился на рыбную ловлю. Вместе с этим стало известно, что Мильтоун уже вернулся и ушел из дома без завтрака.

Берти, Гарбинджер и Шроптон решили после краткого совещания, что с точки зрения выборов, пожалуй, лучше, что она не была «разведенной женой». Они пришли к одинаковому заключению, что терять времени не следует, но только не знали, что делать. Помимо невозможности знать, что думает такой человек, как Мильтоун, в данном случае, они сталкивались еще с другими трудностями. Положение было в высшей степени щекотливое, и, главное, они боялись скандала.

Простое изложение фактов, предосудительных с точки зрения общественной нравственности, преподносимых публике как интересная новость или же, в лучшем случае, с совершенно добросовестным намерением просветить избирателей, чтобы они не отдавали слепо своих голосов человеку, частная жизнь которого не выдерживает дневного света, — что же можно возразить против, этого.

Приверженцы Мильтоуна, однако, отлично понимали, что простое сообщение о том, где он проводит свои вечера, обладает скрытой силой возбуждать воображение. Они знали, что люди всегда интересуются такого рода вещами, и предвидели, как возрадуются пуритане такому случаю. Ведь, уж одно соединение имени челове-

ка, принадлежащего к высшему классу, с именем дамы, живущей одиноко, настраивало людей на весьма пикантные умозаключения.

Гарбинджер был прав, говоря: «Чертовски трудное положение.» Ведь, если обратить внимание на эти толки, то, пожалуй, это заставит поверить, что тут есть правда. А между тем, эти толки, несомненно, должны были принести вред. В глубине души они сознавали, что сами поверили бы им, если бы не знали правды. Так они ничего и не решили, дожидаясь возвращения Мильтоуна.

Леди Валлейс вздохнула с облегчением, услышав новость, но высказала предположение, что это, вероятно, тоже ложь. Однако, когда Барбара подтвердила сообщение, то леди Валлейс заметила: «Бедный Евстафий», и тотчас же написала своему мужу, что «незнакомка» оказалась замужем, и поэтому то именно, чего они так опасались, случится не может.

Мильтоун явился к ланчу, но ни по его лицу, ни по его манерам, ни о чем заключить было нельзя. Пожалуй, он был несколько более разговорчив, чем обыкновенно. Он рассказывал о речи Бребрука, которую слышал. Многозначительно взглянув на Куртье, он сказал ему после ланча:

— Не хотите ли пойти со мной в мою берлогу?

Эта комната, находившаяся в левом крыле здания, построенного во время Елизаветы, и некогда украшенная старинной мебелью и обшитая обоями, теперь была заставлена книжными шкафами и полками, на которых навалены были брошюры и журналы. Комната была обшита темными дубовыми панелями.

В углу стояла коллекция трубок, на одной стене были развешены принадлежности для фехтования, а на другой — коллекция оружия индейцев, привезенная Мильтоуном из его поездки в Соединенные Штаты.

А над всем этим красовалась бронзовая маска, отлитая с гипсового слепка, сделанного с умершего знаменитого вождя апашей одним профессором Йельского колледжа, который находил, что умерший индеец был великолепным образцом угасающей расы краснокожих. Лицо индейца напоминало Данте и носило на себе отпечаток какого-то жестокого, трагического стоицизма. Никто не мог смотреть на него, не испытав при этом впечатление, что тут человеческая сила воли была доведена до крайних пределов.

Куртье воскликнул при виде этого изображения:

— Какая великолепная вещь!.. Только не хва-

тает души.

Мильтоун кивнул головой.

— Сядьте сюда, — сказал он.

Несколько минут прошло в молчании. Наконец, Мильтоун заговорил.

— Я витал в облаках до сих пор… Ведь, вы ее старейший друг. Скажите, как поступить, чтобы эти пошлые сплетни больше не касались ее?

Он с особенным ударением подчеркнул слово «пошлые».

— О! — воскликнул Куртье. — Не обращайте на это внимания. Пусть они варятся в собственном соку. Ее это не может тревожить…

В лице Мильтоуна не дрогнул ни одни мускул.

— Ваши друзья, — продолжал Куртье, — находятся в большом волнении. Не позволяйте им ничего делать и ничего говорить. Отнеситесь ко всем этим разговорам так, как он этого заслуживают, и они сами собой прекратятся.

Мильтоун недоверчиво улыбнулся.

— Я не думаю, чтобы последствия были таковы, как вы предполагаете, но все же сделаю так, как вы говорите, — сказал он. Что же касается вашей кандидатуры, то каждый человек, имеющий искру великодушия в душе, теперь непременно поддержит вас…

— И все-таки возможно, что я из-за этого провалюсь на выборах, — заметил Мильтоун.

— Нет… я никогда не поверю, что люди могут быть так низки!

— Пока вам самому не придется убедится в этом.

Мильтоун облокотился на камин и, стоя так, что лицо его оставалось в тени, проговорил:

— Вам известна ее история. Скажите, есть для нее какой-нибудь выход?

Лицо Куртье приняло такое выражение, какое бывало у него тогда, когда он защищал дело, которое считал правым, хотя и знал заранее, что оно будет проиграно. Пламя, горевшее в его душе, светилось в его глазах, но он ответил совершенно спокойным голосом:

— Я знаю только один, выход, тот, который я бы выбрал, если бы я был на вашем месте.

— Это. Закон в ваших руках.

Мильтоун отошел от камина. Его взгляд был устремлен вдаль, когда он ответил Куртье:

— Да, я думал, что вы скажете мне именно это.

Глава XVII

Когда во всем доме стало тихо, поздно вечером, Барбара вышла в пеньюаре, с распущенными волосами из своей комнаты и, бережно ступая в туфлях на босу ногу, пошла вдоль коридора слабо освещенного лунным светом, падавшим через готическое окно в конце коридора. Остановившись у одной двери, она слегка постучала, но ответа не было. Тогда она чуть-чуть приоткрыла дверь и спросила:

— Ты спишь, Эсти?

Снова не получив ответа, она вошла в комнату.

Занавески были спущены, но лунный свет проникал через них и освещал кровать. Она была пуста.

Барбара остановилась в нерешительности и прислушалась. Какой-то странный, заглушенный звук долетал до нее откуда-то из темноты. Она прижала руку к своему сердцу, которое так билось, что готово было выскочить. Откуда, из какого угла темной комнаты исходил этот странный звук, напоминающий не то стон, не то

рыдание? Она тихо проскользнула к окну и отдернула занавески. Лунный свет осветил комнату, и она увидела Мильтоуна, лежащего на полу. Он схватил голову руками и, казалось, ничего не видел и не слышал.

Барбара спустила занавески и стояла, притаив дыхание, испытывая в груди странное ощущение, как будто ей, ее гордости было нанесено оскорбление.

Но это ощущение скоро уступило место, другому, — безграничной жалости. Она сделала несколько шагов в темноте и опять остановилась под влиянием страха. Никто не заметил в нем ничего особенного в этот вечер. Он был такой, как всегда. Пожалуй, немного более разговорчив и немного более язвителен, чем всегда. И вдруг теперь… Чувство почтительности, вообще не было развито у Барбары, но к своему старшему брату она всегда чувствовала уважение. Когда она была ребенком, он внушал ей почтение потому, что держался всегда так далеко от всех. Она гордилась тем, что могла целовать его, потому что он никому не позволял этого, и ласки, которые он иногда расточал ей, льстили ее самолюбию.

Имеет ли она право вмешиваться в его горе? Разве она сама могла бы вынести, чтобы кто-ни-

будь видел ее в таком состоянии?.. Он не слышал, как она вошла, поэтому лучше уйти, пока он ее не заметил. Но одна половица заскрипела и выдала ее присутствие. Он приподнялся, и тогда Барбара, поборов свой страх, опустилась перед ним на колени и прошептала: «Это я — Баб!»

Если бы в комнате не было так темно, она никогда бы не решилась на это. Она хотела обнять его голову, но не могла ее разглядеть в темноте и поэтому только гладила его руку, раздумывая о том, как отнесется он к ней впоследствии. Быть может, он вознаградит ее за то, что она была свидетельницей его слабости. Она благословляла темноту, скрывавшую все под своим непроницаемым покровом. Вдруг она почувствовала, что он ускользнул от нее.

Она вскочила и быстро выбежала в коридор, который после темной комнаты казался ей наполненным сероватым сумеречным светом. Какие-то странные, неопределенные звуки раздавались кругом.

И словно испугавшись, Барбара бросилась бежать назад, в свою комнату. Ей страстно захотелось тепла и света, и она с радостью снова очутилась в своей хорошенькой, уютной комнате, среди привычной обстановки. Но спать она не

могла. Сцена в темной комнате слишком потрясла ее. Ей казалось, что она слышит заглушенный стон Мильтоуна, чувствует прикосновение его пылающей руки. Она думала о женщине, которую он так любил, и о том, что, быть может и она тоже проводит сегодня бессонную ночь…

Утром Барбара боялась сойти вниз. Как она встретится с Мильтоуном после того, что произошло? Он знает теперь, что ей известно то, что совершается в его душе. Как он отнесется к этому?.. Чтобы не встречаться с ним, Барбара велела подать утренний завтрак в свою комнату, но не успела она закончить, как в комнату вошел Мильтоун. Он был такой же, как всегда, сдержанный и спокойный.

— Если ты поедешь кататься верхом, то отвези пожалуйста, эту записку старому Голидею, в Виннинкотте, — сказал он.

Барбара поняла, что означали его приход и его слова. Он хотел этим показать, что ни он, ни она, не должны упоминать о ночной сцене. Но Барбара вполне сочувствовала его сдержанности и видела в ней единственный возможный выход для них обоих. Поэтому она с благодарностью взглянула на него и сказала просто:

— Хорошо.

Мильтоун прошелся раза два по комнате и вышел.

Барбара чувствовала какое-то непривычное беспокойство. Ее раздражали утренние, разговоры, вертевшиеся все около одних и тех же предметов; она испытала истинное облегчение, когда очутилась одна. Она не любила, чтобы ее сопровождали в ее прогулках верхом, это мешало ей думать о своем. Ей хотелось, чтобы ей говорили о вещах, которых нет, но которые могут быть. Ей хотелось бы приподнять завесу и заглянуть в душу человека, вырвавшегося на свободу. Она как будто потеряла свое равновесие, и необычайность испытанных ею ощущений волновала ее.

Она отказалась от ланча после поездки верхом и пошла бродить по дороге, по обеим сторонам которой тянулись изгороди. Почувствовав голод, около двух часов дня она зашла на какую-то ферму и спросила молока, потом опять пошла бродить и, наконец, дойдя до одного холма, уселась на камне, у его подножия.

Солнце ласкало ее своими лучами, знойное прикосновение которых умерялось свежим ветерком, несущим аромат полей. Как хорошо и тихо было кругом! Но смятенная душа девушки не находила покоя нигде. Барбара сама не по-

нимала, в чем дело, чего ей недостает, но она чувствовала себя неудовлетворенной, как будто все кругом нее было пусто.

Какое-то странное нетерпеливое ожидание охватывало ее, хотя она не могла сказать, чего она ждала. Она развязала шарф и предоставила ветру обвевать ее открытую шею и грудь. Но это не освежило ее. Она встала со вздохом и пошла дальше. Ее мысли постоянно возвращались к той женщине, которую любил Мильтоун. В душе Барбары закипало негодование, когда она думала о том, что молодое, красивое существо осуждено страдать всю жизнь. Пускай-ка они попробуют с ней сделать что-нибудь подобное! Тогда они увидят!

Однако, отнюдь не чувство сострадания и даже не любопытство заставили ее остановиться у коттеджа миссис Ноэль. Ей просто захотелось пожать ей руку. Миссис Ноэль переносила свое горе со свойственной ей сдержанностью. Она, быть может, была бледнее обыкновенного, но и только. Ни в чем другом нельзя было подметить ее душевного волнения.

Ни Барбара, ни миссис Ноэль не заговаривали сначала о том, что больше всего занимало их в эту минуту. Они молча смотрели друг на друга

несколько мгновений; затем Барбара, повинуясь внезапному импульсу, обняла и поцеловала ее. Но и после этого, точно двое детей, которые сначала целуются, а потом уже знакомятся, они продолжали стоять молча и улыбаясь.

Обе чувствовали себя неловко. Что означал этот поцелуй? Поцеловала ли бы ее Барбара, если бы судьба была к ней более милостива? Не служил ли этот поцелуй подтверждением ее несчастья? Казалось, это выражала улыбка миссис Ноэль и улыбка Барбары, помимо ее воли, отвечала утвердительно. Обе они понимали, что могут разговаривать только о самых простых вещах, и поэтому начали говорить о музыке, цветах и пчелах, жужжащих вокруг них. Но во время этого пустого разговора Барбара невольно подмечала все признаки, выдававшие волнение ее собеседницы. И Барбаре, чувства которой были обострены ночным инцидентом с Мильтоуном, казалось в эту минуту, что Одри Ноэль переживает в памяти свое объяснение с ним.

Властная, энергичная натура Барбары испытывала при этой мысли легкое возмущение пассивностью молодой женщины, но к этому примешивалось и нечто в роде зависти. Ведь, что бы ни решил Мильтоун, эта женщина примет

как должное и покорится! Но такая покорность, хотя и упрощала положение, тем не менее, до глубины души возмущала Барбару, которая не выносила бездействия и не стала бы подчиняться предписаниям, от кого бы они не исходили.

Под влиянием этих мыслей она вдруг спросила:

— Что же, неужели вы ничего не станете делать? Вы не попробуете освободиться? Если бы я была на вашем месте, то не успокоилась бы до тех пор, пока не заставила бы их освободить меня…

Но миссис Ноэль не ответила ни слова. Смерив взглядом ее темную, нежную фигуру, ее склоненную головку, увенчанную пышной короной темных волос, Барбара закричала:

— Мне кажется, вы фаталистка!..

Вскоре после этого она ушла, так как не знала, что еще она могла бы сказать этой кроткой женщине, так безмолвно и кротко переносящей свою судьбу. Но по дороге домой, когда она шла по лугу, пестревшему цветами и залитому ярким солнцем, она вдруг поняла силу этой кротости и пассивности, и образ этой женщины в белом предстал перед нею как символ непонятный, но вполне реальный…

Глава XVIII

Лорд Валлейс вернулся домой в конце недели, освобожденный от своих официальных обязанностей. Он был более чем обрадован известием, что Ноэль не свободна, это доставило ему истинное облегчение. Он не придерживался таких старомодных взглядов, как его свекровь, в вопросе о смешении каст, но все же относился очень щепетильно к брачному вопросу, когда это касалось его семьи.

Брак его старшей дочери Агаты сделал его особенно чувствительным к этому вопросу. Шроптон, хотя и славный малый, все-таки был лишь третьестепенный баронет и потом род его был слишком недавнего происхождения. Лорд Валлейс все же думал, что без особенной надобности не следует выходить за пределы собственного круга. Он сам, ведь, не сделал этого!

Утром, в день своего приезда, он тотчас же отправился на псарню и лаская своих любимых пойнтеров, испытывал ощущение школьника, вырвавшегося на свободу. Собаки весело прыгали около него, и он смотрел на них с удовольствием,

к которому примешивалось чувство гордости.

У него была цель добиться первоначальной чистоты породы путем систематического скрещивания. И это почти удалось ему. Казалось, оставалось еще немного, чтобы цель была достигнута. Это была своего рода игра, и именно поэтому то она так интересовала его.

Тоненький голосок, раздавшийся по близости, прервал его размышления. Он оглянулся и увидел маленькую Энн. Накануне вечером она была уже в постели, когда он вернулся, поэтому не видела его. Теперь он был для нее самой свежей новостью; вот отчего, делая свой обычный утренний обход, она прямо направилась к нему. В руках у нее была морская свинка.

— Дедушка, бабушка хочет вас видеть, — залепетала она. — Она там на террасе, разговаривает с мистером Куртье. Я люблю его, он добрый человек…Если я пущу на землю морскую свинку, собаки не загрызут ее?.. Бедняжка, я боюсь за нее!.. Разве она не прелесть?..

Лорд Валлейс, однако, не очень милостиво поглядывал на маленькое животное, которое Энн мяла в своих руках, точно игрушку. Он не любил животных, лишенных смысла. Энн осторожно подняла свинку над головой пойнтеров,

которые, вытянув носы, смотрели на нее, точно очарованные.

— Моя бедняжечка! Они бы охотно схватили ее, не правда ли, дедушка?

— Да.

— Как вы думаете, дедушка, будут у них пятнистые щенки? — поинтересовалась Энн.

— Я не считаю это невозможным, Энн, — отвечал лорд Валлейс, покручивая ус.

— Почему вы любите таких пятнистых собак, дедушка?.. Ой, ой, они хотят поцеловать Самбо. Я уйду.

Лорд Валлейс последовал за девочкой с несколько недовольным видом. Его жена, увидев его издали, вышла к нему навстречу. Вид у нее был взволнованный и более решительный, чем обыкновенно. Муж догадался, что она наткнулась на какую-то оппозицию.

Действительно, она только что скрестила оружие с Куртье. Его посвятили в положение дел, так как он был знаком с миссис Ноэль еще раньше и первый рассказал о ней Барбаре. Спор возник из-за замечания, сделанного Леди Валлейс без всякого злого умысла. Она сказала, что все затруднения возникли из-за того, что миссис Ноэль сразу не объяснила своего положения

Мильтоуну.

Куртье сильно покраснел и сухо заметил:

— Тем, кто никогда не находился в положении одинокой женщины, очень легко осуждать ее, леди Валлейс.

Леди Валлейс пристально посмотрела на него. Она не привыкла к таким возражениям.

— Я менее всего способна на основании каких бы то ни было условностей обвинять женщину. Но я все же думаю, что это доказывает недостаток характера.

Ответ Куртье прозвучал почти грубо.

— Не все растения одинаково выносливы, леди Валлейс… Некоторые обладают особенной чувствительностью.

Она резко возразила:

— Если вам нравится прикрывать этим то, что обыкновенно называется слабостью…

Лицо Куртье приняло суровое выражение. Он нервно кусал усы.

— Какие только преступления не совершались под прикрытием этой веры в переживание наиболее сильных и приспособленных! Эта вера удобна для всех вас, баловней фортуны… — сказал он.

Гордясь своим самообладанием, леди Валлейс заметила ему с ударением:

— О! Мы об этом еще должны поговорить с вами. Мне кажется, ваши слова немного не подходят к данному случаю. Не так ли?

Он прямо взглянул не нее, и по лицу его скользнула странная, неприятная усмешка, смутившая и рассердившая ее. Можно восхищаться такими оригиналами и даже, пожалуй, быть любезной с ними, но всему есть границы!.. Однако, вспомнив, что он ее гость, она сдержалась и сказала:

— Пожалуй, нам лучше не говорить об этом.

Уходя, она слышала его слова, сказанные в ответ:

— Во всяком случае, я уверен, что Одри Ноэль никогда добровольно не оставляла в неведении вашего сына. Она слишком горда для этого.

Как ни была сердита леди Валлейс, но ей все-таки нравилось, что он так энергично выступил на защиту этой женщины. Она тотчас же повернулась к нему:

— Мы с вами, мистер Куртье, должны будем хорошенько сразиться как-нибудь. — заметила она на прощанье.

Леди Валлейс вышла к мужу, разгоряченная этой словесной битвой.

Лорд Валлейс, и она были всегда хорошими товарищами. Сначала они были влюбленной парой

и, отдав дань этому чувству, остались близкими друзьями. Брак их был прочными действительным союзом.

Они оба принимали большое участие в общественной жизни, и поэтому время, которое они проводили вместе, было ограничено, за то продуктивно в отношении взаимной пользы и взаимной поддержки. Им еще не представлялось случая говорить о деле сына друг с другом, поэтому леди Валлейс, взяв под руку мужа, сказала ему, уводя подальше от дому:

— Джоф, мне надо поговорить с тобой о Мильтоуне.

— Гм, — отвечал лорд Валлейс. — У мальчика очень измученный вид. Хорошо будет, когда, наконец, выборы пройдут.

— Если он провалится на выборах и у него не будет никакого нового и серьезного дела, которому он мог бы посвятить себя, то он разобьет свое сердце из-за этой женщины. Лорд Валлейс немного подумал прежде чем ответить.

— Не думаю. Он слишком умен для этого.

— О, да. Но у него настоящая страсть. Притом, ведь, ты знаешь, что он не похож на других молодых людей, которые берут то, что могут.

— Мне жаль эту женщину… в самом деле, мне

жаль ее, — проговорил лорд Валлейс. — Говорят, что этот слух принес нам много вреда. Это вздор. Наше влияние достаточно сильно, чтобы противостоять ему.

— Много будет крику по этому поводу, — прибавила задумчиво леди Валлейс. — Я бы хотела знать, что он думает предпринять? Может быть, ты спросишь его?

— Я не гожусь для этого, — возразил лорд Валлейс. — Ты гораздо лучше меня сумеешь справиться с этой задачей.

Но перспектива такого разговора с сыном вовсе не улыбалась леди Валлейс, и она заметила с неудовольствием:

— Дорогой мой, я всегда раздражаюсь, когда говорю с Евстафием. Он иной раз так усмехается, что я совершенно теряюсь.

— Во всяком случае, это дело женщины и, главным образом, матери.

— Если бы это было что-нибудь другое — прошептала леди Валлейс. — Евстафий умеет удивительно сбить с толку и дать почувствовать несостоятельность противника. Лорд Валлейс с недоумением взглянул на нее. Ему никогда не приходило в голову, что она может оказаться несостоятельной в разговоре с сыном, или что

она недостаточно для этого умна.

— Хорошо, я поговорю с ним, — проговорила со вздохом леди Валлейс.

Когда она вошла в «берлогу» Мильтоуна после завтрака, то застала его за приготовлением к отъезду. Он пристегивал шпоры, собираясь ехать верхом в одну из отдаленных деревень.

Берти Карадок собирался отправиться вместе с ним и дожидался его стоя у стены, как всегда, безукоризненно одетый для верховой езды. Он особенно тщательно заботился о своем костюме, когда собирался ехать верхом, он ни за что не сел бы на лошадь небрежно одетый, а скорее бы согласился умереть, нежели обидеть лошадь таким презрительным отношением в ней.

Кругозор Берти был очень невелик, за то зрение у него было очень острое, и он сразу заметил, что его мать остаться наедине с Мильтоуном.

Он тотчас же вышел из комнаты под каким-то предлогом.

Всякий, кому приходилось иметь дело с Мильтоуном, всегда, в конце концов, испытывал замешательство, не зная, как вести себя с ним. Его замкнутость и самообладание, без сомнения, были наследием его предков. В жилах его текла кровь не только Карадоков и Фиц-Гарольдов,

но и многих других именитых людей Англии, характер которых вырабатывался под влиянием суровых условий времени, в те века, когда деньги еще не делали человека.

И вот леди Валлейс, не отличавшаяся робостью и, вообще, нелегко приходившая в смущение, не решилась сразу заговорить с сыном о том, что ее интересовало. Надеясь, что он сам поможет ей перейти к этой теме, она начала говорить с ним о политике. Но он спокойно отвечал ей, как будто не замечая ее нервного состояния. В душе ее закипало раздражение, и, наконец, призвав на помощь все свое хладнокровие, она сказала:

— Я страшно огорчена, мой голубчик, всей этой историей. Твой отец рассказал мне о твоем разговоре с ним…. Постарайся не принимать этого слишком близко к сердцу, дорогой мой.

Мильтоун ничего не ответил, и, так как леди Валлейс больше всего боялась в таких случаях молчания, то она сама начала говорить. Она изложила Мильтоуну свою точку зрения на весь этот эпизод и закончила словами:

— Без сомнения не стоит так горевать.

Но Мильтоун по-прежнему сохранял на своем лице непроницаемую маску и, только слегка улыбнувшись, сказал:

— Благодарю вас.

Он отворил дверь, и леди Валлейс, не зная, означает ли это, что она должна уйти, и, вообще, ничего не понимая, вышла из комнаты.

Мильтоун затворил дверь за ней и минут через десять уже ехал вместе с Берти верхом по дороге.

Глава XIX

Юго-западный ветер, дувший целый день, нагнал туч, и после обеда полил дождь. Оба брата сильно промокли на обратном пути, так как им пришлось все время ехать под проливным дождем. Они молчали всю дорогу. Хотя они были всегда добрыми друзьями, но им не о чем было говорить друг с другом. Мильтоун сознавал, что он мыслит иначе, чем Берти, в иной плоскости. Берти же не любил делиться даже с братом своими мыслями и хранил про себя свои наблюдения и свои дипломатические познания. Вообще, он был не разговорчив и поэтому не нуждался ни в чьем обществе.

Однажды, в Непале, куда он поехал охотиться, он прожил целый месяц, чувствуя себя совершенно счастливым, один, со слугой индусом, не говорившим не слова по-английски. Когда его спрашивали, не скучал ли он в таком одиночестве, то он отвечал: «Нисколько, я много размышлял».

Берти относился с братским сочувствием к горю Мильтоуна, но в то же время, как убежденный

холостяк он не мог разделять его огорчения. В глазах Берти женщины не имели никакой цены. Он не доверял им. Женщины, по его мнению, были такие существа, которых всегда надо было остерегаться и с которыми надо было обращаться с осторожностью и держать их в подчинении. Единственный намек, который он позволил себе сделать Мильтоуну, был довольно неожиданного свойства.

— Дружище, — сказал он. — Я надеюсь, что ты покончишь с этим.

За этими словами последовало молчание. Ни тот, ни другой не нарушали его, пока не поравнялись с коттеджем миссис Ноэль. Тогда Мильтоун сказал брату:

— Возьми мою лошадь. Я хочу зайти туда.

Миссис Ноэль сидела за роялем. Руки ее лежали на клавишах, но она не играла и сидела неподвижно, устремив глаза на ноты. Тень Мильтоуна заслонила свет, падавший из окна. Миссис Ноэль обернулась и тотчас же вскочила. Но она не подошла к нему и не заговорила. Он тоже молчал и упорно смотрел на потухший камин.

Вопрос всей их жизни решался в эту минуту, но ни он, ни она не могли прервать молчания, которое тяготило их обоих и, казалось, тянулось

бесконечно. Наконец, она прикоснулась к его рукаву и воскликнула.

— Вы попали под дождь.

Он вздрогнул. Ее робкая заботливость о нем тронула его, но он все-таки не решался заговорить.

Она оказалась сильнее его, и, в конце концов, ему пришлось все-таки первому прервать молчание.

— Простите мой визит, — сказал он. Надо как-нибудь решить. Эти толки…

— Ах, опять это! — воскликнула она. — Что мне сделать, чтобы эти разговоры не приносили вам больше никакого вреда?

Губы Мильтоуна как-то странно искривились.

— Нет! Пусть они говорят!

Глаза их встретились и, казалось, не могли оторваться друг от друга.

— Простите ли вы меня когда-нибудь? — спросила, наконец, миссис Ноэль.

— Что? Ведь, это была моя ошибка!

— Нет… Я должна была бы лучше знать вас.

Скрытый и глубокий смысл этих слов заставил Мильтоуна вздрогнуть. Он понял все, что она готова была сделать для него, понял и ее горькое сознание, что он никогда не был готов перенести все и пожертвовать всем ради любви к ней.

Опять наступило молчание. Они стояли так близко, что почти касались друг друга, но глаза их были опущены.

Наконец, Мильтоун прошептал:

— Итак, мне остается только сказать вам, прощайте.

Миссис Ноэль слегка побледнела. Она пыталась улыбнуться, но уже не могла скрыть своего отчаяния. Только глаза ее, казавшиеся огромными, горели мрачным огнем на ее побелевшем лице. И Мильтоун прочел в них гордый и печальный упрек…

Дрожа всем телом, он отвернулся к окну и крепко стиснул кулаки. Она не пошевельнулась продолжала пристально смотреть на него. Он закрыл лицо руками и быстро вышел из комнаты. Она немного постояла, потом подошла к роялю и раскрыла ноты.

Кошка вскочила на окно и внимательно следила за полетом ласточек. Солнечный луч, золотивший верхушку липы, медленно угасал. Снова полил дождь.

Глава XX

Клод Фране, виконт Гарбинджер, в тридцать один год, был уже совершенно независимым пэром Соединенного королевства. Благодаря одному предку, приобретшему землю и умершему за сто тридцать лет до постройки на небольшом участке этой земли города, Неттльфольда, виконт Гарбинджер получил огромное состояние. Он был красив, высок ростом, хорошо сложен и производил впечатление сильного характера, исчезавшее, впрочем, при ближайшем знакомстве с ним.

Он был из числа людей, которые играют некоторую роль в политической и социальной жизни благодаря своему привилегированному положению, своей наружности и самоуверенности.

Нельзя сказать, чтобы он был ленив. Он даже написал какую-то книгу, много путешествовал, был капитаном милиции и мировым судьей, прекрасно играл в крокет и был недурным оратором. Его энтузиазм по отношению к социальной реформе нельзя было назвать фальшивым. Но ко всему на свете он применял мерку своего класса,

сам этого не замечая, потому что все его сторонники были заражены такими же классовыми предрассудками.

Между тем, он всегда горячо восставал в политике против узких и предубежденных взглядов и осуждал за это нонконформистов и представителей рабочей партии. Никогда он не согласился бы признать, что некоторые двери жизни были для него замкнуты с самого рождения и оставались замкнутыми, когда он был в Итоне и затем в Кембридже. Никто не стал бы отрицать честности его принципов и его личной чистоты. Но в нем совершенно отсутствовала оригинальность, и он не мог взглянуть на жизнь с другой точки зрения, чем та, которая ему была внушена его воспитанием и окружающей средой.

Он постоянно находился среди людей, для которых политика представляла род спорта, никогда не подчинялся никакой дисциплине и ничего сам не придумывал. При таких условиях было даже удивительно, что он мог к чему-нибудь относиться серьезно. Он никогда не бывал влюблен и только в прошлом сезоне, встретив Барбару, «втюрился в нее по уши», как он сам об этом выражался. Однако, несмотря на это, он еще не просил ее руки. У него не хватало, по-видимому,

ни времени, ни мужества.

Когда он был возле нее, то ему казалось, что он не может дольше оставаться в неизвестности и должен объясниться с ней. Но, как только он переставал видеть Барбару, его тотчас же захватывал круговорот жизни, и ему некогда было думать о ней. Однако, в эти две недели, которые он прожил в Монкленд Коурте рядом с Барбарой, его чувства к ней достигли точки кипения.

Притом же он испытывал какое-то внутреннее беспокойство. Конечно, он ни за что не согласился бы признать, что причиной этого беспокойства был Куртье. В его глазах Куртье был до некоторой степени «никто», — человек крайних воззрений, а такие люди всегда возбуждали в нем смешанное чувство отвращение и страха. Правда, он редко встречался с Куртье, так как большую часть дня разъезжал в автомобиле и произносил речи.

Куртье же большую часть времени сидел в своей комнате и писал или ездил кататься, потому что он был слишком слаб, чтобы ходить пешком. Раза два, впрочем, вечером в курительной комнате он вступал с ним в какой-нибудь принципиальный спор и всегда в таких случаях в его голосе слышалось плохо скрытое раздражение. Он не мог понять, что человек, обладающий здра-

вым смыслом, может гоняться за призраками, как это делал Куртье.

Факты остаются фактами и человеческую природу изменить нельзя. Но особенно раздражали его выражение глаз Куртье и легкая ирония, которая слышалась в его тоне, как будто он хотел сказать: «Вы ничего в этом не смыслите, мой милый».

Однажды утром, после одной из стычек со своим противником, он встретил Барбару, направляющуюся к конюшням и попросил позволения сопровождать ее. Она собиралась ехать верхом, но хотела раньше посетить своих четвероногих любимцев. Конюшни Монкленд Коурта были величиной с хороший помещичий дом, и в них стояло около тридцати лошадей, включая и пони маленькой Энн. По своему устройству, чистоте, обилию света и воздуха эти конюшни не оставляли желать ничего лучшего. Каждое утро у главного входа ставился маленький ящик, наполненный морковью, яблоками и кусками сахара, для того, чтобы каждый посетитель мог угостить лошадей, если ему вздумается. Барбара тотчас же направилась в тот угол конюшни, где стояла любимая бурая лошадь, которая тотчас же повернула голову в ее сторону, услышав ее

шаги. Барбара, забавляясь, манила ее пучком моркови, который держала в руках. Гарбинджер наблюдал эту сцену и вдруг, сильно побледнев, проговорил:

— Леди Баб!

Его голос звучал так странно, что Барбара удивленно оглянулась.

— Как долго это будет продолжаться? — спросил он.

Нисколько не меняясь в лице, она спокойно смотрела на него слегка испытующим взглядом. Не было ни жестокости, ни следа женского кокетства в этом взгляде, но он пугал Гарбинджера своей непроницаемостью. Но Гарбинджер все же набрался смелости и, взяв ее руку тихо сказал:

— Вы знаете, что я чувствую. Не будьте ко мне жестоки…

Она не отняла своей руки, как будто не замечая, что он держит ее, и спокойно ответила:

— Я вовсе не жестока.

Взглянув на нее, он увидел, что она улыбается.

— Так значит… Баб?

Он приблизил свое лицо к ней, и Барбара не отодвинулась. Она только отрицательно покачала головой. Гарбинджер вспыхнул и спросил:

— Почему?

Он внезапно опустил ее руку, точно сраженный несправедливостью.

— Почему? — повторил он еще раз, но уже в голосе его слышалась резкость.

Но она молчала. Слышно было только, как лошадь Барбары чмокала, разжевывая морковь. Аромат, исходивший от волос и платья девушки, смешиваясь с несколько едким и сладковатым запахом стойл, раздражающим образом действовал на нервы Гарбинджера.

— Почему? — повторил он в третий раз упавшим голосом.

Она заложила руки за спину и ласково ответила:

— Мой милый, как я могу сказать, почему?

Он бы мог обнять ее, если бы осмелился. Но он не посмел и отошел в сторону. Она же продолжила ласкать тянувшуюся к ней морду лошади, как ни в чем не бывало. Он почувствовал, как в душе его закипело бешенство. Она отвергла его — Гарбинджера. Он не знал и даже не подозревал до этой минуты, как она была нужна ему. Это юное, такое спокойное, улыбающееся существо вдруг овладело всеми его помыслами, кружило ему голову и наполняло сердце тоской. Он чувствовал себя в эту минуту несчастнейшим из людей.

— Я не откажусь от вас, — прошептал он.

Барбара странно улыбнулась в ответ, точно хотела сказать:

— Благодарю вас…

Они пошли домой. Он шел поодаль от нее и разговаривал о лошадях. В полдень она уехала кататься верхом и ее сопровождал Куртье. Они молча доехали до вершины холма, поросшего вереском и там остановились, любуясь видом, который открывался оттуда. Далеко, к югу и востоку, виднелся океан, а внизу, на лугу, паслись лошади.

Куртье продекламировал вполголоса:

— Так бы я сидел и пел, держа возлюбленную в моих объятиях, а внизу, под ними, простиралось бы далекое, божественное, лазурное море…

После небольшого молчания он сказал, не спуская глаз с Барбары:

— Леди Барбара, мы в последний раз остаемся с вами наедине. Я должен воспользоваться этим счастливым случаем и высказать вам правду. Вы всегда будете звездой, которой я поклоняюсь. Но ваши лучи слишком ярки для меня, я должен издали благотворить вас. С высоты своего седьмого неба взгляните на меня ласковыми глазами и не забывайте меня окончательно.

Барбара с пылающими щеками безмолвно слушала его речи, представляющие странную смесь иронии и горячего, искреннего чувства.

— Да, лишь, бессмертные имеют право обнимать богинь. Я же могу только сидеть у порога храма, скрестив ноги, и трижды в день подвергаться ниц перед изображением богини.

Барбара молчала.

— Рано утром, — продолжал Куртье, я буду выходить из моего мрачного и угрюмого убежища и смотреть туда, где находится храм. Тогда своими духовными очами я буду созерцать вас…

Губы Барбары пошевелились, как будто она что-то хотела сказать.

— О, не огорчайте меня, прошу вас!

Он нагнулся к ней, взял ее руку и поднес ее к губам.

— Теперь поедем обратно…

Вечером, за обедом, лорд Деннис, сидевший против Барбары, был поражен ее сияющей красотой. Она сидела между Куртье и Гарбинджером. Лорд Деннис наблюдал за ними и Барбарой своими еще зоркими глазами. Он ясно видел, что происходит и, хотя Барбара была спокойна на вид и ела с аппетитом, но старый лорд заметил, что ее глаза постоянно обращаются в сторону Куртье.

Он видел также, что она чем-то взволнована. Гарбинджер заговорил с ней, и она отвечала ему улыбающаяся и спокойная.

«Какая прекрасная пара! — подумал лорд Деннис. — Если она выйдет замуж за Гарбинджера, то во всей Англии нельзя будет найти более красивой пары».

Лорд Деннис перевел глаза на Куртье. Да, внешность у него очень мужественная. Его считают опасным. Пожалуй, тот внутренний огонь, который временами прорывается в нем, делает его привлекательным. Он может поправиться молодой девушке. Для таких людей, как лорд Деннис, человек, подобный Куртье, представляется своего рода загадкой. Он даже нравился лорду Деннису, но его смущала его излишняя пылкость. При этом он не понимал и не принимал его увлечение гуманитарными идеями. Такие люди, живущие ради идеи, всегда казались ему несколько странными и ограниченными, потому что он сам признавал только сухие факты. Они же всюду разыскивали несправедливости, радовались, когда находили их и упивались этим. А так как несправедливость и жестокость встречались очень часто, то они везде находили для себя пишу и всегда пребывали в состоянии повышенного возбуждения.

Мысль лорда Денниса снова вернулась к Барбаре. Как летит время! Неужели эта красавица та самая крошка Баб, которую он учил ездить верхом. Он взглянул на Мильтоуна и подумал: как мало сходства между ним и сестрой! Оба, по-видимому, переживают сердечное горе, и лорд Деннис по опыту знал, что оно порой длится до самой старости.

Во взгляде молодой девушки, брошенном на брата, лорд Деннис подметил как бы просьбу о поддержке. И ему стало грустно за нее. Эти двое молодых людей, сидевшие возле нее, подстерегают ее, точно охотники крупную дичь. Это казалось ему отвратительным. Но, во всяком случае, только бы она не вздумала склоняться в сторону этого красноволосого джентльмена, у которого есть идеи, но нет родословной. Пусть она лучше выйдет замуж за человека своего общества и класса.

Лорд Деннис припомнил, что она говорила ему про обоих и про их различную жизнь. Очевидно Куртье представляется ей в несколько романтическом свете. Пожалуй, он годится для этого — подумал лорд Деннис. Тип героя с примесью донкихотства. Он готов, очертя голову, ринуться навстречу опасностям ради своей идеи, и всем

пожертвовать. Но Баб! Роль Аниты, славной спутницы великого Гарибальди, ей не по плечу…

Да, такие девушки, как Баб нуждаются в большем (или, может быть, в меньшем?) неужели жизнь в шалаше с любимым человеком. Они не могут приносить жертв ради своей любви и ради дела. Баб нужны удовольствия, удобства. Ей нужно влияние и господство в обществе теперь, а не посмертная слава женщины, совершавшей подвиги ради любимого человека. Это увлечение (если только тут есть увлечение?) не что иное, как романтизм, свойственный молодым девушкам ее возраста.

Лорд Деннис устремил свои проницательные глаза на молодую девушку. Неужели это преходящее увлечение может превратиться в серьезное чувство?..

Пожертвовать существенным ради призрачного счастья? Такие глаза?.. Такая улыбка?.. Нет, нет, этого не может быть! Она должна преодолеть это… Пусть лучше возьмет этого красивого юношу, сидящего возле нее, и постарается быть счастливой с ним…

Глава XXI

Куртье покинул Монкленд Коурт лишь утром того дня, когда начались выборы. Совесть немного мучила его. Колено у него давно уже совершенно зажило, и он отлично сознавал, что остается в замке только из-за одной Барбары. Но в тоже время его раздражала атмосфера огромного дома с целой армией слуг и невозможность делать что-нибудь самому так же, как и полная отрезанность от настоящей жизни, со всеми ее нуждами, горестями и печалями. Ему даже жаль было всех этих людей, собственное существование которых как будто было задавлено тяжестью их социального положения и значения.

Конечно, это была не их вина. Они делали, что могли. Они были хорошими образцами своей породы, не проявляли ни изнеженности, ни бесхарактерности, ни излишней роскоши, и это среди такого общества, где царила безумная расточительность и наблюдались все признаки вырождения. Они, видимо, старались быть скромными, и это желание даже казалось ему трогательным. Судьба слишком баловала их.

Они пользовались слишком большим материальными преимуществами, а такое обилие материальных благ не могло не оказать своего вредного воздействия на человеческую душу.

И Куртье представлялось, что перед его глазами разыгрывается трагедия человеческой души, стремящейся к своему освобождению, и центром этой трагедии является девушка, так сильно привлекающая его в себе. Каждый вечер, уходя в свою прекрасную комнату, где все было так хорошо устроено для его комфорта, он думал:

— Но завтра я все-таки должен уехать отсюда.

Однако, каждое утро, когда он встречал девушку за завтраком, мысли его принимали другое течение, и временами он ловил себя на этом. «Неужели эта жизнь и на меня оказывает свое влияние? Неужели я становлюсь изнеженным?..» — восклицал он мысленно. Он более чем когда-либо приходил к заключению, что чопорность и недоступность этих людей, в сущности, представляла ни что иное, как искусственную оболочку, в которую они облекали себя, повинуясь инстинкту самосохранения.

Он замечал это и в Барбаре, которая избегала всяких проявлений чувствительности и симпатии, смотря на это, как на слабость, достойную

признания. Каждый день у него появлялось искушение сорвать эту оболочку и посмотреть, не может ли ее сердце воспламениться каким-нибудь чувством или идеей. И, несмотря на все его удивительное и в то же время мучительное самообладание, он видел, что она чувствует то, что происходит в его душе, и порой он ловил такое смелое выражение в ее глазах, что оно неудержимо влекло его к ней.

Между тем, когда он простился с ней вечером накануне своего отъезда, он не мог льстить себя мыслью, что ему удалось заронить искру в ее душу. Да она не давала ему случая удостовериться в этом, точно с намерением избегая находиться с ним наедине в этот вечер. Равнодушная и улыбающаяся, она оставалась в обществе других дам, не давая ему возможности поговорить с ней. Она как будто твердо решила не допускать больше таких иронических выражений преданности с его стороны, какие он позволял себе недавно.

Накануне он распрощался со всеми и встал очень рано, надеясь уехать незамеченным, но в автомобиле, предоставленном в его распоряжение, он нашел маленькую фигуру, в холщовом платьице, которая примостилась на подушках таким образом, что ее ножки в сандалиях касались

спины шофера. Эти ножки принадлежали маленькой Энн. Совершая свой обычный утренний обход, девочка увидела автомобиль и залезла в него. Ее звонкий голосок, внезапно раздавшийся в ушах Куртье, и маленький носик, задорно выглядывавший из-за подушек, подействовал ободряющим образом на него.

— Вы уезжаете? — спросила она. — Я могу поехать с вами до ворот.

— Прекрасно, — отвечал Куртье.

— А это все ваш багаж?

— Боюсь, что да.

— О, тут вещей достаточно! Не правда ли?

— Достаточно для меня.

— Конечно. Ведь вы не берете с собой кроликов.

— Обыкновенно не беру.

— Ну, а я всегда их беру собой... А вот и бабушка!

Леди Кастерлей стояла спиной к дороге и указывала высокому садовнику, что надо сделать со старым дубом. Куртье тотчас же выскочил из автомобиля и направился и старухе, чтобы попрощаться с ней.

Она обратилась к нему с какой-то угрюмой сердечностью.

— Итак вы уезжаете, — сказала она. — Я рада этому. Хотя вы, конечно, знаете, что лично вы мне нравитесь.

— Конечно, — подтвердил он, насмешливо сверкнув глазами.

— Людей, которые смеются так, как вы это делаете, я считаю, вообще, опасными. Я, ведь, уже раньше говорила вам это.

Затем она прибавила с особенною серьезностью:

— Моя внучка скоро выйдет замуж за лорда Гарбинджера. Я сообщаю вам это ради душевного спокойствия. Вы честный человек и далеко не зайдете.

— Он будет счастлив, — ответил Куртье, нагибаясь к ее руке.

Старушка пристально посмотрела на него и сказала с ударением:

— Да, сэр, он будет счастлив. Прощайте…

Куртье улыбаясь приподнял шляпу. Его щеки горели. Когда он сел в автомобиль, то снова оглянулся.

Леди Кастерлей продолжала о чем-то говорить высокому садовнику…

Звонкий голосок маленькой Энн прервал его мысли.

— Я надеюсь, что вы приедете опять, — говорила девочка, — потому что я буду здесь на Рождество. И братья мои будут. Джон и Тидди. Но Кристофер, конечно, не приедет. Он еще слишком мал. Ну, а теперь прощайте. Я должна вернуться. Здравствуй, Сузи.

Девочка соскочила и Куртье увидел, что она подошла к маленькой, бледной дочке привратника.

Автомобиль выехал за ворота.

Если бы леди Кастерлей, действовавшая под влиянием внезапного побуждения, вызванного улыбкой Куртье, заранее составила себе план обращения к нему, то она не могла бы придумать ничего лучшего. Ее слова произвели на него впечатление. Как настоящий бродяга, он питал недоверие, почти граничащее с презрением, к людям, установившимся, занимающим прочное положение, как все эти аристократы и буржуа, и, как человек действия, он ненавидел ничего неделание или то, что называл «толчением воды».

Ухаживание за Барбарой, не имея цели жениться на ней, было не в характере человека, обладающего таким чувством собственного достоинства, хотя и отрицающего всякую условную мораль. Точно также ему не могло прийти в голо-

ву тайно стараться взять верх над Гарбинджером и похитить у него невесту.

Куртье вовсе не был о себе такого высокого мнения и не считал себя неотразимым. Он приказал шоферу свернуть на дорогу, которая вела к коттеджу Одри Ноэль. Ему не хотелось уезжать, не посетив ее в ее горе.

Она вышла к нему на веранду. Пожатие ее худенькой, смуглой ручки сказало ему красноречивее всяких слов, что она полагается на его понимание и дружбу. Именно такое безмолвное обращение к его защите сильнее действовало на него.

— Не давайте им повода думать, что они вас сломили, — сказал он, крепко сжимая ее руку. С какой стати вы так убиваетесь? Это грешно и стыдно.

Однако, взглянув на ее лицо, выражавшее гораздо больше, чем все его слова, он невольно замолчал.

Протест был протестом цивилизованного человека, в ее же лице выражался протест самой природы, безмолвное возмущение красоты, осужденной на бесполезное увядание, — красоты, которая должна была служить источником радости и жизни.

— Я уезжаю отсюда, — проговорил он. — Мы с вами, знаете, не годимся для этих людей. Такие вольные птицы, как мы, здесь не у места.

Пожав руку Куртье на прощание, она вернулась в дом, а он долго смотрел на то место, где она стояла. Она всегда внушала ему особенное чувство покровительства и это чувство при малейшем поощрении с ее стороны, легко могло бы превратиться в другое, гораздо более горячее чувство. Но, когда она очутилась в таком ненормальном положении, то он больше всего на свете боялся, чтобы ее доверие к нему не поколебалось. Ее печаль вызывала в его душе чувство горячего возмущения против судьбы, так несправедливо поступившей с нею.

Голос шофера оторвал его от мыслей:

— Леди Барбара, сэр.

Куртье посмотрел в ту сторону, куда указывал шофер, и увидал Барбару верхом на лошади. Она выделялась, точно статуя на лазурном фоне небес, возле башни, возвышающейся над развалинами. Куртье остановил автомобиль и прямо направился к ней.

Он бы не мог сказать, знала ли она о его приближении, но он готов был бы отдать все, что имеет, — впрочем, это было не так уж много! —

чтобы заглянуть в ее душу.

Что скрывалось в ней? А, между тем, он гордился своим знанием женщин… Но, увидя ее, он мог только проговорить:

— Как я рад этому счастливому случаю.

Взглянув на нее, он заметил, что она была очень бледна, и губы ее дрожали.

— Я увижу вас в Лондоне, — сказала она и, притронувшись хлыстом к лошади, поскакала вниз с холма, на котором стояла, ни разу не оглянувшись назад.

Куртье вернулся к автомобилю и попросил шофера ехать, как можно быстрее.

Глава XXII

Выборы было уже в полном разгаре, когда Куртье приехал в Бекландбюри. Он остановился частью, желая дождаться результатов выборов, частью же надеясь еще раз увидеть Барбару. Он пошел бродить по главной улице, как посторонний наблюдатель. Прежняя страстная политическая вера в действительность этих желтых и синих бюллетеней давно уже поблекла и заменилась философским взглядом на вещи. Но он видел, что избиратели больше всего ненавидят неопределенность, и что они страстно желают быть уверенными в том, что страна может быть сразу спасена либо желтыми, либо синими билетиками. Без сомнения, у всех у них были свои основательные причины становиться на ту или другую сторону. Либо они шли по дороге, проторенной их отцами, либо действовали под влиянием внушения или же соблазнились заманчивыми обещаниями той или другой стороны.

Некоторые подавали свои голоса, потому что «его лордство» выступал кандидатом, другие же потому, что привыкли к возгласу: «выбирайте

Чилькокса для Бекландбюри». Но, во всяком случае, как для тех, так и для других истина была окрашена теперь либо в желтый, либо в синий цвет.

Узкая улица была запружена толпой избирателей. Высокие полисмены, наблюдавшие за порядком, стояли спокойно по сторонам, потому что им нечего было делать. Толпа была мирно настроена. Обе стороны были уверены в победе и поэтому были в хорошем расположении духа. Куртье находил это спокойствие толпы поистине великолепным. Избиратели явились с известным решением. Они ожидали этого дня в течение многих месяцев и теперь будут обсуждать его результаты тоже в течение многих месяцев.

Выборы, очевидно, представляли нечто в роде религиозной церемонии, суммирующей все их наиболее возвышенные чувства, и такой человек, как Куртье, конечно не мог оставаться равнодушным зрителем этого важного акта, хотя его политические верования уже лишились первой свежести, и пора увлечений для него миновала.

Было уже довольно поздно, когда он увидел на улице длинную вереницу людей с большими плакатами спереди и сзади, на которых было напечатано огромными синими буквами на свет-

ло-голубом фоне:

Новые осложнения.
Опасность не исчезла.
Подавайте голоса за Мильтоуна.
Спасайте империю!

Куртье остановился, почувствовав прилив негодования. Эти ходячие плакаты глубоко возмущали его, так как в них он видел грубую уловку, проявление низменных сторон национальной жизни. Однако, разве это не оправдывалось с партийной точки зрения? Разве не было безусловно необходимо пустить в ход все средства, чтобы до наступления ночи выиграть сражение? И ради этого синие газеты печатали жирным шрифтом: «Новые осложнения», а желтые помещали заметку о «Ночном приключении лорда Мильтоуна».

Такую тактику нельзя было назвать вполне честной, но другого способа сражаться не было. Желтые, пожалуй, даже были более виновны в недобросовестности, но они сами не верили в добросовестность своих противников. Все это было прекрасно известно Куртье, и, тем не менее, человек, расклеивающий объявления, показался ему особенно отвратительным. Он не мог удержаться и ударил палкой по одному из плакатов,

которые несли мимо него.

Раздавшийся стук напугал лошадь мясника, и она взвилась на дыбы. Куртье схватил ее под уздцы, но бросившаяся под ноги собака подтолкнула его. Он споткнулся и упал. Лошадь, сделавшая скачок ударила его копытом по голове, так что он на мгновение потерял сознание, но затем, придя в себя, отказался от всякой помощи и отправился в отель.

Он чувствовал сильное головокружение. Обмыв и перевязав небольшую рану на голове, он тотчас же лег в постель.

Мильтоун, вынужденный показываться лично своим избирателям и поэтому посетивший места голосования, узнал о том, что случилось с Куртье, и тотчас же пришел навестить его.

— Это все ваши плакаты! — сказал ему Куртье.

— Я приказал их удалить, — отвечал Мильтоун.

— Штука удалась, поздравляю, Вы пройдете на выборах.

— Я ничего не знал о плакатах.

— Мой милый, я ни на минуту в этом не сомневался. Если человека отделяет от священного города пустыня, то разве он откажется от путешествия, от того только что по дороге ему придется

умываться грязной водой? Толпа?

— О, как я ненавижу ее, Куртье.

В его словах было столько подавленного бешенства, что они даже удивили Куртье, вся жизнь которого проходила в том, что он всегда сражался с большинством.

— Куртье, я, ненавижу пошлость и глупость толпы, ненавижу звук ее голоса и ненавижу ее вид! — продолжал Мильтоун со страстью в голосе. Я испытываю муки ада от одной только мысли, что я прохожу туда посредством голосования толпы. Грешно пользоваться ею, и я искупаю это теперь.

Эта странная вспышка настолько поразила Куртье, что он сначала ничего не ответил.

— Вы слишком много работали, — сказал он наконец, — поэтому вы потеряли свое душевное равновесие. Ведь, в конце концов, толпа состоит из таких же людей, как мы с вами.

— Нет, Куртье, если бы она состояла из таких людей, как мы с вами, то она не была бы толпой.

— Вы так говорите, как будто вам нет никакого дела до всего этого, — возразил Куртье серьезным тоном.

— Я всегда держался в стороне от этой каторги. Вы поступаете так, как вам хочется. Я же не на-

столько свободен.

С этими словами Мильтоун распрощался с ним.

Но Куртье еще раз сказал ему с ударением:

— Бросьте вашу политику, если вы так чувствуете. Не губите свою жизнь из-за этого… Не губите ее жизни.

Мильтоун ничего не ответил.

Ночь была тихая и теплая, когда Куртье вышел около полуночи из отеля и направился к зданию классической гимназии, где должно было быть вывешено объявление о результате выборов. Какой-то странный шум, точно дыхание громадного чудовища, наполнял воздух. Это гудела толпа, запрудившая площадь, находившуюся в конце улицы, идущей под гору.

Издали точно темный ковер растянулся внизу, испещренный светлыми пятнами от фонарей. Высоко над толпой поднималась маленькая башня с остроконечной крышей, украшенная освещенным циферблатом часов. Куртье, спускавшийся по улице, видел, что головы всех были обращены в одну сторону. Ему казалось, что он слышит биение сердца этой толпы, чувствующей и мыслящей теперь как один человек.

Отдельные помыслы, чувства, желания — все

это потонуло в одном общем порыве, заставлявшем биться в унисон тысячи сердец, и Куртье невольно испытывал волнение, подавленный величием этой ночной сцены.

Какой-то старик с длинной седой бородой, стоящий рядом с ним, взволнованно шепнул ему, указывая на балкон:

— Я не видел ничего подобного со времени знаменитого 48-го года… Вот они там, эти аристократы!

Куртье взглянул вверх и увидел лорда и леди Валлейс, стоящих рядом и смотрящих на толпу. Возле них, облокотившись на окно и разговаривая с кем-то, скрывавшимся позади нее, стояла Барбара. Старик, указавший Куртье на них, отошел в сторону, что-то ворча про себя. Куртье заметил, что глаза его сверкнули ненавистью, и это взволновало его. Он увидел, что Барбара смотрит на него. Она тихонько поднесла свою руку к виску, как бы желая дать ему понять, что она заметила его забинтованную голову. Но у него хватило настолько самообладания, чтобы не поднять шляпы в ответ на ее жест.

Старик, волнение которого возбуждало его симпатию, снова подошел к нему и заговорил:

— Вы вряд ли помните 48-год? Вот было время!

Народ был охвачен такими чувствами… Мы все готовы были умереть за свою идею в те дни. Мне теперь 84 года, прибавил он, прижимая свою дрожащую руку к груди, — но дух еще жив во мне. Я хочу, чтобы выиграли радикалы.

Далеко позади них несколько человек в толпе начали петь, и скоро старая чартистская песня раскатилась по площади, наполненной народом.

Куртье, увлеченный общим энтузиазмом, тоже громко запел. Он почувствовал в своей руке мягкие пальчики какой-то женщины, а в левой он держал худую дрожащую руку старика. Песня раскатилась и постепенно умолкла вдали, но тотчас же мощный баритон, тот самый, который был запевалой, затянул национальный гимн, и в одно мгновение тысячи голосов присоединились к нему, а в воздухе заколыхалось бесчисленное множество шапок.

— Вот это религия! — подумал Куртье.

Даже с балконов раздавалось пение. Куртье видел, что лорд Валлейс слегка приоткрыл рот, как будто стыдился присоединиться к певцам, Барбара же, откинув голову, пела с увлечением. Впрочем, в толпе не было ни одного человека, который не участвовал бы в этом хоре. Душа английского народа как будто вырывалась наружу

вместе звукам, далеко разносившимися в ночной тишине.

Но вдруг песня смолкла. Наверху, под освещенными часами, показалась какая-то тонкая, темная фигура, за ней появились другие. Куртье узнал Мильтоуна.

Кто-то крикнул:

— Да здравствует Чилькокс!

Затем все смолкло, и в наступившей тишине можно было ясно расслышать шум поезда, промчавшегося на расстоянии мили от площади.

Темная фигура выступила вперед. В руках у нее был маленький листок бумаги, отчетливо выделявшийся белым квадратным пятном на черном фоне сюртука.

— Леди и джентльмены — раздался голос. — Вот результат голосования: Мильтоун получил 4.898 голосов, Чилькокс 4.802.

Тишина сразу прекратилась, словно молчание, упав на землю, разлетелось на тысячи кусков. В воздухе стоял непрерывный гул. Куртье пробился в толпе поближе к балкону. Он видел, что лорд Валлейс облокотился на перила, широко улыбаясь. Леди Валлейс подняла руку к своим глазам, а Барбара, рука которой покоилась в руке Гарбинджера, прямо смотрела ему в глаза…

Куртье остановился. По лицу старого чартиста, стоящего рядом с ним, катились крупные слезы.

Наконец, показался Мильтоун. Он был бледен, как смерть, и на лице его не было улыбки победителя.

Глава XXIII

В три часа пополудни, 19-го июля, маленькая Энн Шроптон появилась на главной лестнице дома Валлейсов в Лондоне. Ее маленькая фигурка в белом платьице медленно взбиралась по широким, освещенным солнцем, ступеням, которые она громко считала. Число этих ступеней как будто менялось с каждым днем, так как она ежедневно сбивалась в счете, но это особенно нравилось Энн, которую занимала всякая новинка. Дойдя до того места, где лестница расходилась на обе стороны, Энн остановилась в раздумье, не зная, куда повернуть. Она не помнила хорошо, по которой стороне она взбиралась накануне и поэтому присела в нерешительности на ступеньки.

Энн было поручено отнести записку. Она была совсем новенькая, когда Энн получила ее в руки, но теперь бумажка была измята и казалась старой. И, конечно, записка должна была, в конце концов, совершенно истрепаться, так как Энн намерена была не прямо отнести ее по назначению, а пройти через квартирную галерею. Ей непременно хотелось посмотреть, что нахо-

дится в конце этой длинной галереи. Немного поколебавшись, она решила повернуть налево, поднявшись наверх, вошла в полутемный салон, со спущенными зелеными шторами. Она шла осторожно, потому что паркет был очень скользкий. Ее маленькое личико с таким задорным носиком, приняло несвойственное ему серьезное выражение.

Частью это зависело от полутьмы, господствующей в салоне, частью же от старинных портретов и картин, производивших на маленькую девочку подавляющее впечатление. В самом деле, в этом полусвете все старые Карадоки казались ей особенно грозными в своих темных доспехах. Но Энн все-таки была рассудительная девочка, и притом страх ей был не знаком. Ведь, это были только портреты предков — ничего больше! Поэтому девочка, сморщив презрительно носик, так как находила всех их очень некрасивыми, продолжала идти дальше. В конце этой портретной галереи была дверь. Энн открыла ее и вышла на площадку.

В углу была каменная лестница, кроме того, на площадку выходили две двери. Энн опять становилась в нерешительности. Интересно было бы подняться по лестнице, но не менее интересно

было открыть эти двери и посмотреть, что там находиться. Она открыла одну из них, но тотчас же захлопнула с разочарованием и открыла другую. Она увидела комнату, не похожую на другие комнаты в доме и удивительно напоминавшую ей ее классную комнату; она была уставлена кожаными стульями, и вдоль стен расставлены были шкафы, полные книг.

В первую минуту она ничего другого не разглядела, но вдруг услышала звуки как будто поцелуя. Инстинкт подсказал девочке, что она должна подать голос и она тотчас же сделала это. Тогда ее позвали, и, обернувшись, она увидала, что возле камина стоят ее дедушка и бабушка. Она подбежала к ним и затараторила:

— Вы всегда тут сидите, дедушка?

— Всегда, — отвечал лорд Валлейс.

— Здесь хорошо. Не правда-ли, бабушка?.. А куда ведет каменная лестница?

— На крышу башни, Энн.

— О!.. Мне надо отдать записку, поэтому я должна идти скорее.

— Жаль… Прощай.

— Да… Прощайте.

Девочка побежала, а лорд и леди Валлейс с улыбкой взглянули друг на друга.

Их беседа в библиотеке, которую нарушил приход девочки, произошла совершенно случайно. Лорд Валлейс обыкновенно уходил в этот спокойный и укромный уголок, когда ему надо было что-нибудь обдумать. В своем официальном кабинете он не был огражден от своих секретарей, поминутно тревоживших его разными вопросами. В библиотеке же он мог без помехи курить и размышлять. Если его что-нибудь занимало или беспокоило, то он всегда отправлялся в библиотеку, и леди Валлейс знала, что она может найти его там, если ей нужно было его видеть.

В данный момент он был очень озабочен. Добрый от природы, он не любил принимать крутых мер относительно своих арендаторов, в особенности в таких случаях, когда он не встречал никакой оппозиции с их стороны. Но теперь он должен был решить судьбу каменоломни в имении Пендридни.

Это имение было доходным, окупало все расходы и поддерживало разные затеи лорда Валлейса; его скаковые конюшни в Нью Маркете и т. п. Совсем иначе обстояло дело с каменоломней в имении, не приносившей никакого дохода и даже увеличивавшей расходы в Пендридни. Практические соображения говорили в пользу закрытия

каменоломни, и лорд Валлейс, сидя в библиотеке и покуривая свою любимую трубочку, обдумывал это решение.

Ему не легко было принять его, но отнюдь не потому, что его страшило негодование, которое должно было вызвать это решение в местной и, пожалуй, даже в национальной печати. Скорее даже это могло бы укрепить его решение. Он не любил, чтобы ему заранее диктовали его поведение, а газеты только и делали это.

Его совесть была чиста. Ему не легко было лишать бедняков заработка и это обстоятельство его больше всего смущало. Он старался всесторонне и беспристрастно обсудить этот вопрос. Согласно его принципу, каждое из его поместий должно было само окупать свое содержание, жалованье и пенсии служащим, расходы по содержанию дома, охоты, конюшен и т. п. учреждений. Так и было до сих пор.

Каменоломня же требовала поддержки со стороны поместья, и часть его доходов уходила на нее. По мнению лорда Валлейса, оставлять каменоломню в действии значило бы признать принцип пауперизации и поддерживать одну часть арендаторов поместья за счет другой.

«Это была бы ложная экономическая политика,

род скрытого, замаскированного социализма», — рассуждал он.

«В дальнейшем логическом развитии это должно привести к моему разорению, и, допуская это, я как бы отрекаюсь от своего убеждения, что в силу моих традиций и воспитания я сам представляю для государства наилучшее орудие, при посредстве которого оно может обеспечить благосостояние народа».

Однако, дойдя до этого пункта в своих размышлениях, он вдруг остановился. В душе его продолжался протест. Мог ли он одним росчерком пера распорядиться судьбой стольких людей и лишить их заработка?

«Если я этого не сделаю, то какой-нибудь плутократ или акционерная компания, или, еще хуже государство», — думал он.

Он находил, что кооперативные предприятия противоречат духу страны, ему не оставалось ничего другого.

Факты, ведь оставались фактами, и, следовательно, игнорировать их было невозможно.

Но все же решение, принятое им, было неприятно. Он испытывал беспокойство и, покуривая трубку, сосредоточенно смотрел на листок бумаги, испещренный цифрами.

В этот момент вошла его жена. Она искала его, чтобы посоветоваться с ним насчет хозяйственного вопроса, но сразу заметила, что он чем-то сильно озабочен.

— В чем дело, Джоф? — спросила она.

Лорд Валлейс встал, подошел к камину и выколотил трубку. Затем он протянул ей лист бумаги, на котором были сделаны выкладки, и сказал:

— Все эта каменоломня… Вот посмотри. Ничего тут не поделаешь. Надо ее закрыть.

Леди Валлейс изменилась в лице.

— О, нет! — воскликнула она. — Это было бы слишком большим несчастьем.

— Но она тормозит развитие этого имения, — заметил он.

— Я знаю, согласилась леди Валлейс. — Но я никогда не буду в состоянии заглянуть туда после этого… И у многих там огромные семьи.

Лорд Валлейс ничего не отвечал и продолжал сосредоточенно разглядывать свои ногти.

— Скорее я готова принести какие-нибудь жертвы, чем решиться на это, — прибавила она с волнением. — Лучше уж отдать в аренду Пендридни, чем лишить заработка всех этих людей.

— Отдать в аренду? Лучшее место для глухарей?

Но леди Валлейс продолжала развивать свою мысль.

— Со временем люди могли бы заняться другим делом, — сказала она. — Ты говорил с Мильтоуном?

— Нет, — сухо ответил лорд Валлейс. Это бесполезно. Мильтоун слишком не практичен.

— Но он, по-видимому, хорошо знает, что ему нужно…

— Говорю тебе, у Мильтоуна слишком отсталые взгляды. Его не зачем впутывать в это дело.

Леди Валлейс подошла ближе к мужу и, взяв его за обшлаг, проговорила умоляющим голосом:

Джоф, в самом деле… ради моего удовольствия… придумай что-нибудь другое!

Лорд Валлейс нахмурился и потом ответил:

— Ну, что-ж. Для твоего удовольствия я готов отложить решение еще на год.

— Ты думаешь, что лучше закрыть совсем каменоломню, чем отдать ее в аренду?

— Мне неприятно было бы видеть посторонних лиц, хозяйничающих здесь. Еще будет время подумать об этом, если понадобится. А пока… Прими это от меня, как рождественский подарок.

Леди Валлейс покраснела от удовольствия и нагнувшись к мужу, поцеловала его в щеку.

Как раз в этот момент вошла Энн. Когда дверь захлопнулась за нею, то лорд и леди Валлейс переглянулись.

— Я пришла поговорить относительно Баб, — сказала леди Валлейс. — Не знаю, что с ней такое. Она ничем не интересуется теперь…

Лорд Валлейс несколько угрюмо произнес:

— Это влияние жары… а, может быть, тут виноват Клод Гарбинджер…

Лорд Валлейс не был особенно нежным отцом, но Барбара вызывала его восхищение, и ему очень улыбалась мысль так скоро расстаться с ней.

— Ах! — проговорила тихо леди Валлейс. — Я вовсе в этом не уверена.

— Что ты хочешь сказать?

— С нею происходит что-то странное. Я не поручусь, что этот мистер Куртье не зародил в ее сердце какое-нибудь чувство.

Как? — вскричал горд Валлейс, густо покраснев.

— Именно.

— Черт знает, что такое! Достаточно уж для этого одного года той неприятности, которую доставил нам Мильтоун.

— Достаточно даже для двадцати лет, не только для одного года. Но я не спускаю с нее глаз. Гово-

рят, что он уезжает в Персию.

— И оставит там свои кости, надеюсь, — сердито проворчал лорд Валлейс. В самом деле, это уже слишком… Мне кажется, вы все не правы.

Леди Валлейс подняла брови и взглянула на мужа. Что за странные эти мужчины? Очень странные и беспомощные в подобных вещах.

— Хорошо, — сказала она. — Я должна сейчас поехать на собрание. Я возьму ее с собой и постараюсь от нее выведать что-нибудь.

Леди Валлейс отправлялась на митинг общества «поощрения многодетных семей», где она обещала председательствовать. Программа этого общества отвечала требованиям ее здоровой, широкой натуры. Она участвовала во многих обществах, так как не могла отказать, когда к ней обращались с просьбой стать во главе какого-нибудь движения, по их идее ей симпатичного. Но все же другие общества мало привлекали ее. В основе же этого общества была заложена идея, столь близкая ее сердцу, а именно: увеличение нации! Большие семьи, здоровые, крепкие дети были ее идеалом. Она допускала лишь индивидуальные отклонения этого правила и намерена была сделать девизом лиги французское изречение: «Мужество и только мужество». По ее

мнению, в этом заключался вопрос полного осуществления идеи нации. У нее была искренняя и какая-то даже трогательная вера в национальный флаг, не взирая на то, что им прикрывается. В этом заключался ее идеализм.

— Вы можете говорить, сколько хотите о том, что национальная жизнь должна быть направлена на путь социальной справедливости! — воскликнула она. — В сущности, что за дело нации до социальной справедливости? Вопрос стоит гораздо глубже. Это дело чувства. Мы должны размножаться.

Поглощенная мыслями о своей вступительной речи, леди Валлейс ничего не говорила Барбаре, когда они ехали на митинг. «Время терпит», — думала она. Барбара несколько томная и бледная, была все же так хороша, что мать невольно залюбовалось ею. «Хорошо, если удается втянуть и ее в эту общественную работу».

В маленькой, полутемной комнатке, возле передней, уже собрался комитет лиги, и леди Валлейс со своей дочерью тотчас же взошли на трибуну, устроенную в зале…

Глава XXIV

Барбара, поглощенная своими мыслями, не обращала внимания на публику, наполнявшую зал и с любопытством устремлявшую на нее свои взгляды. В течение последних трех недель, последовавших за избранием Мильтоуна, она перебывала на бесчисленных митингах и исполняла различные общественные функции, так что у нее совершенно не было ни времени, ни силы воли, чтобы заглянуть в свою душу. Клод Гарбинджер не отходил от нее. Он как будто жил только для нее, и сознание, что она внушила ему такую беззаветную страсть, все-таки доставляло ей удовольствие. Она ездила с ним верхом и танцевала, и порой даже испытывала при этом какое-то особенное удовольствие. Но временами на нее нападало недовольство собой и страстное желание испытать нечто другое, настоящую страсть, настоящее чувство и бежать подальше от этого мира, где ей надо было придумывать для себя страдания и напускать на себя серьезность.

Она видела Куртье три раза. Один раз он обедал у них по приглашению леди Валлейс, написавшей

ему записку, составленную в таких изысканно любезных выражениях, какие она всегда употребляла в отношении людей, стоявших ниже ее на ступенях социальной лестницы. Другой раз Барбара виделась с ним на пикнике, а на следующий день она встретила его во время своей прогулки верхом. Накануне она сказала ему, в какой час она поедет, и увидела его на аллее, по которой проезжала. Он стоял, облокотившись на перила, и на лице его играла столь знакомая ей ироническая улыбка. По-видимому, он собирался покинуть Англию, но на ее вопрос, куда он поедет и зачем, он только пожал плечами.

Сидя на пыльной трибуне, в жаркой, душной зале, наполненной людьми, Барбара слушала речи, не вникая в их смысл. Она смотрела на ораторов, на публику, бессознательно замечая некоторые подробности, жесты ораторов и выражение их лиц. Но смысл того, что они говорили, ускользал от нее. Да она и не интересовалось этим. Маленький человек в черном сюртуке, горячо жестикулируя, закончил свою речь. Леди Валлейс встала, чтобы отвечать ему, и Барбара почему-то обратила внимание, на ее затылок и большую черную шляпу, покрывшую ее голову.

— Мы вполне сочувствуем искренности, а

отчасти и намерениям нашего друга на этом собрании, — сказала она. — Но мы должны серьезно задать себе вопрос: имеем ли право поддаваться личным чувствам таком деле, как национальное распространение? Наш друг среди находящихся в зале, говорил, — прошу у него прощения! — скорее, как поэт, нежели как серьезный реформатор. Боюсь, что, если мы увлечемся поэзией, то процент рождаемости в этой стране тоже скоро превратится в поэтический вымысел. И я думаю, что мы не можем смотреть на это, сложа руки. Поэтому я предлагаю резолюцию…

Но Барбара не слушала дальше, занятая своими мыслями и чувствами, которые унесли ее далеко от этой залы. Она очнулась лишь, когда поднялся шум, и она поняла, что митинг закончился. Ее мать обратилась к ней:

— Теперь, моя дорогая, мы должны поехать в больницу. Это наш день. У нас едва хватит времени.

Они сели в автомобиль. Барбара молча смотрела в окно на дорогу. Леди Валлейс украдкой наблюдала за ней.

— Этот маленький человек обрушился точно бомба. Я думаю, он по ошибке попал к нам, — сказала леди Валлейс и, помолчав, прибавила: — Я

слышала, что мистер Куртье приглашен на сегодняшний бал к Эллен Глоучестер, не так ли, Баб?

— Бедняга!

— Ты, ведь, будешь там? — заметила леди Валлейс.

Барбара откинулась в угол кареты.

— Не мучь меня, мама, — повторила она.

Леди Валлейс почувствовала раскаяние. Она взяла руку Барбары, но эта рука оставалась безжизненной в ее руке.

— Я угадываю состояние твоей души, дорогая, — сказала она. — Но не поддавайся этому настроению. Надо сделать над собой усилие и стряхнуть его. Хорошо было бы тебе съездить к дяде Деннису завтра. Ты сама себя мучаешь.

Барбара вздохнула.

— Я бы хотела, чтобы этот день скорее прошел, — прошептала она.

Автомобиль остановился у дверей больницы.

— Ты войдешь или ты слишком устала? — обратилась леди Валлейс к дочери. — Больные всегда так рады видеть тебя…

— Ты устала еще больше меня, — возразила Барбара. — Конечно, я пойду…

Слабый шум раздался в палате, когда обе дамы вошли туда, и почти все больные тотчас же

обернулись в сторону двери. Тедди Валлейс, с ласковым, ободряющим видом, присела к постели одной из больных, но Барбара остановилась в нерешительности. Все эти женщины выглядели такими бледными, жалкими созданиями, с задумчивыми, печальными глазами.

Одна из них лежала неподвижно и даже не подняла головы, чтобы посмотреть, кто вошел. Ее исхудалое, бледное лицо казалось совершенно прозрачным. Темные тени окружали закрытые, глубоко ввалившиеся глаза, и слабое дыхание вылетало из ее полуоткрытых, совершено бескровных губ. Черные и мягкие, как шелк, волнистые волосы спускались на ее лоб. Ее тонкая, костлявая рука, пальцы которой были исколоты иголкой, бессильно лежала на груди.

Барбара почувствовала волнение, глядя на эту спящую девушку. Сон придавал ей какую-то своеобразную нежную красоту и окружал ее ореолом величавого спокойствия. Казалось, она была так далеко теперь от всего, что ее окружало, от этой палаты с ее голыми стенами, с ее формализмом и печальным, монотонным существованием.

Барбара невольно вспомнила о своем родном доме, живописных башнях, вокруг которых завывает ветер, об уютных красивых комнатах,

где протекала ее жизнь. Рядом со спящей, на соседней кровати, лежала старушка, с темным сморщенным лицом и блестящими, черными глазами. Ее живость и разговорчивость показались Барбаре очень пошлыми, по сравнению с величавым спокойствием спящей. Старушка указала Барбаре на ветку вереска, поставленную возле нее в маленькой мисочке.

— Это из Уэллса, — объяснила она Барбаре. — Моя мать родилась там, и я поэтому очень люблю вереск, хотя никогда не была дальше окрестностей Лондона!

Когда Барбара, обойдя палатку, снова вернулась к ней, то спящая возле нее девушка уже проснулась и сидела на кровати. Теперь она имела самую обыкновенную наружность. Хрупкая, нежная красота, которую сообщал ей сон, исчезла без следа.

Барбара почувствовала облегчение, услышав слова матери:

— Моя милая, я еще должна съездить на морской базар, а ты отправляйся домой и отдохни хорошенько. Ты должна запастись свежими силами для вечера. Мы сегодня обедаем у Плессей.

Бал герцогини Глоучестер нельзя было пропустить. Герцогиня устроила его так поздно, когда

сезон уже закончился, только для того, как она говорила, чтобы продлить сезон и таким путем прийти на помощь извозчикам. Конечно все открыто сочувствовали ее цели, но втайне каждый думал про себя, что хорошо было бы рано утром в день бала укатить на своем автомобиле куда-нибудь подальше и очутиться в сельской обстановке! Сезон удлинился на целую неделю из-за бала герцогини и в течение всего этого времени извозчики, не подозревая о такой заботе о них, терпеливо выстаивали на своих местах, у железнодорожных вокзалов, дожидаясь пассажиров, так как Лондон против обыкновения еще не опустел. Само собой разумеется, что в этот вечер к Глоучестер собралось изысканное общество.

Над огромной залой, где кружились танцующие пары, медленно колыхались индейские опахала, освежая насыщенный ароматом цветов воздух. Зала представляла волнующееся море светлых платьев и обнаженных плеч, мелькающих перед глазами в вперемешку с черными фраками мужчин. Какая-то красивая женщина стояла возле гигантского букета цветов и разговаривала с Берти Карадоком. Это была его кузина, Лили Мальвезен, жена одного пэра, принадлежащего к либеральной партии. Она была настоящая

красавица, с чудным цветом лица и блестящими глазами. Разговаривая с большим оживлением со своим кавалером, она бросала на него украдкой взгляды, точно желая пробить ими броню, которая, казалось, защищала от таких посягательств этого необыкновенно сдержанного и равнодушного молодого человека.

— Нет, дорогой мой, говорила она насмешливо: — никогда вам не убедить меня, что Мильтоун пойдет на такую приманку! Он слишком непримиримый человек… А, вот и Баб!

Мимо них, точно прелестное видение, пронеслась мисс Барбара. Леди Мальвезен следила за ней глазами, и, когда она исчезла в толпе танцующих, то молодая женщина чуть слышно спросила Берти Карадока:

— С кем она танцует. Это ее новый поклонник?

Берти отвечал таким же чуть слышным голосом:

— Он не из тех, кого можно принимать в серьез.

Леди Мальвезен ничего не сказала на это, но, продолжая смотреть в ту сторону, где мелькало белое платье Баб, думала:

«Она, несомненно, задела его… Это нехорошо со стороны Баб… в самом деле».

Обернувшись, она заметила лорда Гарбинджера, который, облокотившись на колонку, тоже не спускал глаз с танцующей пары.

«Бедный Клод — подумала она. — Ничего нет удивительного, что он с таким выражением смотрит на них. Ах, какая Баб!»

В это время Барбара, окончив танец, вышла вместе со своим кавалером на террасу, уставленную тропическими растениями. В своем белом платье она представлялась Куртье каким-то призрачным видением. Он молчал и смотрел на нее. Разве можно обращаться со словами к призраку? Она была для него воплощением красоты, сотканным из воздуха, и должна была исчезнуть от грубого прикосновения, как исчезает очаровательное видение, создаваемое фантазией человека, среди сверкающих белизной горных вершин или залитой лунным светом березовой рощи, стволы которой блестят, точно окованные серебром… Слова были бы кощунством. Да и что пользы произносить их в этом мире, к которому принадлежит она, преисполненном такой непоколебимой уверенности в себе и ускользающим от всякого воздействия. Этот мир казался ему огромным зданием с наглухо закрытыми ставнями, не допускающим в свои пределы никого

из тех, кто не верил, что это и есть настоящий мир и другого быть не может. Все, что находится за его пределами, лишь щебень, остатки тех материалов, из которых он был построен… Но в этом мире, в этом обществе Куртье чувствовал себя как человек, путешествующий в пустыне. Он жаждал встретить сейчас близкого человека.

Вдруг позади них раздался голос Гарбинджера:

— Леди Баб.

В огромной зале еще долго колыхались опахала и раздавались звуки музыки. Затем так же быстро, как исчезают капли росы с поверхности листьев при первых лучах восходящего солнца, исчезло все блестящее общество, и в огромных, опустелых комнатах остались только кое-где фигуры лакеев в ярких ливреях, расхаживающие по полированной поверхности паркетного пола, словно красные фламинго по берегу какого-нибудь пустынного озера, на заре туманного утра…

Глава XXV

Лорд Деннис спокойно доживал свои дни в просторном доме, в окрестностях маленького приморского города Неттльфольда. Это одна из самых здоровых местностей Англии и лорд Деннис, окруженный своими любимыми книгами, жил там, не чувствуя приближения старости и не думая о смерти. Он больше всего интересовался историей культуры, которую изучил и от времени до времени писал даже статьи по этому вопросу в одном старомодном журнале. Он делил свое время между книгами, микроскопом (так как изучал также инфузорий) и ужением рыбы в лодке своего приятеля Джона Богля, давно уже сообразившего, что лорд Деннис представляет самую крупную рыбу, какая когда-либо попадалась ему на крючок.

Всегда одинаково сдержанный и спокойный, лорд Деннис пользовался некоторым влиянием среди людей своего круга. В Неттльфольде твердо установилось мнение, что он истинный джентльмен. Лорд Деннис был в этом маленьком городке единственным человеком, который никогда не

подвергался никакой критике. Близких соседей у него не было, за исключением молодого Гарбинджера, замок которого находился в трех милях от Неттльфольда. Но лорд Деннис никогда не тяготился одиночеством. Конечно, он был тори, но его консерватизм был весьма умеренного характера, и он не верил в другой способ возрождения страны, кроме того, который может содействовать развитию добрых чувств между классами и их сближению. Когда его спрашивали, как это сделать, то он отвечал с обычной усмешкой, что, нечего удивляться, что осы вылетают из гнезда и жалят, если в это гнездо бросают палки.

Не имея земельных владений, лорд Деннис воздерживался от высказывания своего взгляда на жгучий земельный вопрос, но, когда уже очень наседали на него, то он говорил: «В общем, это лучше, когда земля находится в наших руках, но следует, чтобы среди нас было поменьше «собак на сене».

У него, как у каждого человека его расы, было нежное, покровительственное чувство к земле, и ему была невыносима мысль, что ею будет распоряжаться бесчувственное государство. Он всегда иронизировал насчет социалистических и радикальных воззрений, но не выносил ругани

за их спиной.

На другой день после бала герцогини Глоучестер, он получил от Барбары следующую записку: «Дорогой дядя Деннис. Я могу приехать к вам, чтобы отдохнуть, немного раньше, чем вы условились с папой. В Лондоне невыносимая жара. Маму связывают всякого рода обязанности, я же не могу уехать в Монкленд, потому что должна присутствовать на нашем последнем вечере — политическом. В другое же место я не хочу ехать, потому что везде слишком для меня шумно. Евстафий имеет очень измученный вид. Я попробую привезти его с собой, если мне это удастся. Дедушка, как всегда, великолепен. Любящая вас Баб».

Она приехала в тот же вечер, но Мильтоуна не было с ней. Лорд Деннис встретил ее у ворот и крепко поцеловал.

Когда они шли по аллее к дому, он, слушая ее оживленную болтовню, с тревогой взглядывал на нее. Он никогда не видел ее больной; но теперь он заметил, что она была непривычно бледна и волосы ее были не так зачесаны, как обыкновенно. Лорд Деннис провел ее через луг, где цвели лютики. Там паслась старая белая лошадь, уже переставшая служить. Барбара всегда ездила на ней верхом, когда была девочкой. Лошадь тотчас

же узнала ее и, подойдя к ней, начала тереть свою морду об ее плечо. Девушка приласкала ее, и лорд Деннис бессознательно почувствовал в эту минуту, что Барбара делает над собой неимоверные усилия, чтобы не разрыдаться.

Желая дать ей время успокоиться и не подавая вида, что он заметил ее волнение, лорд Деннис отошел к ограде и как будто засмотрелся на море, волны которого подкатывались почти к самой стене. Легкий южный ветерок доносил запах водорослей и шум разбивающихся воли, но лорд Деннис ничего этого не замечал, он думал о Барбаре. Для него не существовало сомнения, что у нее есть какое-то горе, и ему казалось необыкновенно странным, что именно она, может испытывать какое-то огорчение. Что могло причинить его? Это не была чья-нибудь смерть, значит — это была любовь. И лорд Деннис, помимо своей воли, подумал о высоком, энергичном молодом человеке с рыжими усами.

Иметь идеи — хорошее дело, никто не станет оспаривать этого. Но они хороши в свое время, например, за обеденным столом. Но влюбиться в человека, у которого нет ничего, кроме идей, и который живет только ими, — это казалось старому лорду совершенно невероятным.

Барбара подошла к нему и, облокотившись на решетку, тоже стала смотреть на море. Лорд Деннис украдкой наблюдал за ней, стараясь угадать ее мысли.

— Ты хочешь отдохнуть в водах Леты, — сказал оп. — А кстати, видела ты нашего приятеля, мистера Куртье? Его донкихотские взгляды на жизнь не лишены своего рода картинности.

Барбара сделала вид, что не слышала его замечания и заговорила о другом. Весь вечер она была очень оживлена и весело болтала, так что всякий другой был бы обманут ее беззаботностью, но старый лорд чувствовал, что под этим что-то таится.

Когда она ушла к себе, то сейчас же сбросила с себя эту маску веселости и, усевшись у окна, стала напряженно всматриваться в темноту. Она чувствовала какое-то раздвоение в своей душе. Встреча с Куртье на балу снова пробудила в ней неудержимое желание расправить свои крылья и улететь. Но крылья были связаны, — она так ясно ощущала это!

Она пробовала лечь в постель, но заснуть не могла, и, когда часы пробили три, Барбара вскочила. Надев мягкие туфли, она бесшумно со свечкой в руке, прошла через коридор и спустилась по

лестнице. Закутавшись поверх ночной одежды в плащ, она тихонько, стараясь делать как можно меньше шума, открыла засов и вышла в парк направляясь прямо к морю.

Пробежав через луг, покрытый ночной росой, она перелезла через невысокую стену и побежала по морскому берегу. От моря на нее повеяло прохладой, и непреодолимое желание броситься в волны, подкатывавшиеся к ее ногам, вдруг охватило ее. Может быть, ее мятежные чувства успокоятся в этих прохладных волнах.

Море и небо были такие черные, что Барбара простояла несколько минут в нерешительности. Нигде не видно было ни одной полосы света, не слышно было ни звука, кроме рокота воли… Барбара присела на камень и стала ждать рассвета, который должен был скоро наступить.

В этот уединенный ночной час все скрытое в ее душе лишь смутно сознаваемое ею, становилось таким понятным и ясным. И такой маленькой и ничтожной показалась она себе самой со своими печалями и сомнениями среди этой торжественной ночной тишины, перед лицом тихо рокочущего океана и темного, глубокого небесного свода! Ей казалось, будто кто-то великий и мощный заглядывает ей в душу.

Барбара вздрогнула и плотно закуталась в плащ. Но, как только на востоке показалась первая полоса зари, Барбара сбросила одежду и распустив волосы, погрузилась в волны. Чувство невыразимого наслаждения охватило ее. Ей было жутко и весело, как будто она была ребенком, позволившим себе недозволенную шалость, за которую она ждет выговор. Но так хорошо было купаться в предрассветных сумерках.

Барбара плыла все дальше и дальше и, наконец, повернувшись на спину, подставила свое лицо первым лучам восходящего солнца.

Накупавшись вдоволь, она вышла на берег, слегка вздрагивая от ощущения холода. Лихорадочное беспокойство, мучительные сомнения, угнетение духа, исчезли бесследно. Она снова чувствовала себя смелой и бодрой, как всегда.

Она опять перелезла через стену и быстро побежала к дому. Она испытывала сильный голод и поэтому тихонько пробралась в столовую, ища чего-нибудь поесть. Она нашла бисквиты и принялась грызть их, как вдруг услышала какой-то шорох и увидела в дверях хорда Денниса в голубом халате с зажженной свечкой в одной руке и револьвером в другой.

— И ты называешь это отдыхом? — воскликнул

старик, увидев Барбару, но, заметив ее мокрые волосы, тотчас же прибавил с тонкой усмешкой, — вижу, вижу. Ты доверила свои печали волнам Леты.

Но Барбара, ничего не отвечая, исчезла, как видение, в темной передней, и он услышал ее шаги, когда она бежала по лестнице…

Глава XXVI

Мильтоун сидел в палате общин, дожидаясь момента, когда ему можно будет говорить. Он хотел произнести свою первую речь во время прений по земельному вопросу, затянувшихся на много часов. Несколько раз он поднимался с места, но ему не удавалось «поймать взгляд скпикера», и он снова садился. Мало по малу им овладело странное чувство, как будто все, что окружало его, было не реально. Эта большая зала, в которой постоянно раздавался голос только одного человека, эти темные фигуры, сидящие на скамьях, — все это как будто были образы, созданные его воображением. И, когда, наконец, он заговорил, то ему казалось, будто он обращается только к самому себе. Все находящиеся в зале словно растаяли в воздухе, когда он поднялся с места и с сильно бьющимся сердцем начал свою речь.

Хороша или дурна была его речь, — он этого не знал. Когда он закончил, то не почувствовал ни радости, ни облегчения, которые обыкновенно испытывают всегда после произнесения своей

первой речи. В сердце он ощущал только горечь. В сущности, произнеся эту речь, к которой он должен был готовиться, он лишил себя того, что служило для него отвлекающим средством, и прежние чувства с особенною силой овладели им. Он понял, что принес слишком много в жертву своим убеждениям. Какой пустой и ненужной казалась ему его политическая карьера с тех, пор, как он не мог разделить ее с Одри Ноэль!

Было уже поздно, когда Мильтоун вышел из парламента и медленными шагами направился домой. Он брел по набережной с задумчивым рассеянным видом, точно он не знал, куда ему идти. Он чувствовал себя глубоко несчастным.

С тех пор, как Одри Ноэль была для него потеряна, ее милый образ не покидал его ни на минуту. Он видел его перед собой, как чудный цветок, который он мог бы сорвать, стоило ему только протянуть руку. Но в этом то и заключалась жгучесть его страданий. Он знал, что не протянет руки… В его душе как будто жили два существа, ведущие смертельную борьбу друг с другом: человек долга, глубоко верующий в святость принципов, в божественные веления, в авторитет, и существо, пылкое, жаждущее счастье и любви, с горячим сердцем и тоскующей душой.

В эту минуту он, всегда сдержанный и замкнутый, страстно желал иметь возле себя кого-нибудь, кому бы он мог излить свою душу, и кто бы понял его сердечную муку, его тоску. Но привычка никогда никому не поверять своих мыслей и чувств делала его одиноким; у него не было ни товарищей, ни друзей, он всегда был один и это одиночество теперь давило на него.

Уже начало светать, когда он, наконец, добрался до своей комнаты. Зная, что не заснет, он даже не пытался лечь в постель, а только переоделся, напился кофе и несколько времени просидел у открытого окна, выходящего в сад. Внутреннее беспокойство, однако, гнало его из дому. Он опять пошел бродить, пока не очутился во владениях леди Кастерлей. Садовник увидел его и слух о том, что молодой лорд находится в плодовом саду, дошел до ушей Клифтона, который пошел посмотреть, что это значит. Он, действительно, увидел Мильтоуна, сидящим на скамье.

— Вы пришли к завтраку, милорд? — спросил он Мильтоуна.

— Да, если бабушка пожелает меня принять, — отвечал Мильтоун.

— Я слышал, что вы произнесли вашу речь вчера вечером. Надеюсь, вы остались довольны

палатой общин? — поинтересовался Клифтон.

— Да, вполне… Благодарю вас, Клифтон.

— Вероятно, она уже не такая, как была в великие дни вашего деда. Он был очень хорошего мнения о палате общин. Но состав ее меняется.

— Времена меняются, Клифтон.

— Да, да. Я замечаю совсем новое веяние в общественных делах. Дешевые, распространенные газеты. Их покупаешь, но вряд ли можно согласиться с ними. Я сгораю от нетерпения прочесть вашу речь. Говорят, первая речь требует большого напряжения.

— Да, пожалуй.

— Но вам нечего робеть. Я уверен, что вы сказали прекрасную речь… Я всегда ждал этого дня, — прибавил старик слегка дрогнувшим голосом, и его ввалившиеся щеки чуть-чуть покраснели, — с тех пор, как я знаю вас… двадцать восемь лет. Это начало.

— Или конец, — проговорил Мильтоун.

Лицо старого слуги омрачилось.

— Нет, нет, — поспешно возразил он. — Как вы можете это говорить? Вся ваша прежняя жизнь…

Мильтоун протянул ему руку.

— Я не хотел огорчить вас, — сказал он.

Несколько минут оба молчали, словно удив-

ленные своим крепким рукопожатием. Наконец Клифтон заговорил:

— Не хотите ли принять ванну? Завтрак будет только в восемь часов. Я могу достать вам бритву.

Когда Мильтоун вошёл в столовую, где был сервирован завтрак, то застал свою бабушку, сидящую в кресле у стола. Перед ней стояла тарелка с виноградом и вазочка с накрошенными бисквитами. Это был ее утренний завтрак. В руках она держала только что полученный номер «Times». Мильтоун нашел, что она была бледнее обыкновенного, как будто она страдала от жары. Но ее маленькие стального цвета глазки блеснули по-прежнему, когда она взглянула на внука.

— Вижу, Евстафий, что ты выбрал свой собственный путь, — сказала она, откладывая газету. — Я не имею ничего сказать против этого, скорее даже за. Но только помни одно, голубчик, как бы ты сам ни изменился, ты не должен выказывать колебаний. Главное — твердость. Надо постоянно вколачивать тот же самый гвоздь и тем же самым молотком… Что с тобой? Ты выглядишь нехорошо.

— Нет, я здоров, — отвечал Мильтоун, нагибаясь и целуя старушку.

— Вздор. О тебе, видно, мало заботятся дома. Была твоя мать в палате?

— Не думаю.

— Разумеется она не была. Ну, а Барбара? Ей бы следовало позаботиться о тебе.

— Барбара у дяди Денниса.

Леди Кастерлей многозначительно поджала губы, потом, окинув Мильтоуна проницательным взором, сказала:

— Я не отпущу тебя сегодня. Мы поедем на берег моря. Как вы думаете, Клифтон? — обратилась она к слуге.

— Его сиятельство выглядит очень бледным, — отвечал Клифтон.

— Да. Клифтон распорядитесь насчет коляски. Томас может пойти и принести тебе пальто. Или лучше, — хоть я и не люблю этого, vы можем телефонировать твоей матери, чтобы она прислала автомобиль. В вагонах слишком жарко. Устройте же это, Клифтон, пожалуйста…

Мильтоун не возражал против поездки. Но, сидя рядом с леди Кастерлей в автомобиле, он имел такой усталый и индифферентный вид, что она не на шутку встревожилась. Эта маленькая старушка, проникнутая до мозга костей аристократическими принципами и носительница

традиций своего класса, не допускала упадка духа и считала его преступной слабостью, тем более, что она догадывалась о причинах душевного состояния внука. Будь это кто-нибудь другой из ее семьи, а не Мильтоун, то она дала бы волю своему негодованию. Но Мильтоун и ее заставлял сдерживаться. Только один раз во время четырехчасовой поездки она попыталась было заставить его нарушить свою скрытность. Она сделала это очень осторожно и мягко. Разве в нем одном не сосредоточивались все ее надежды и гордость се сердца? Взяв его под руку, она сказала:

— Не горюй, голубчик. Это совсем не годится.

Но Мильтоун ничего не ответил, и леди Кастерлей, уязвленная его молчанием, больше не заговаривала с ним.

Глава XXVII

Только одной Барбаре, Мильтоун позволил слегка заглянуть в свою душу. Вероятно, он бы этого не сделал, если бы не то, что Барбара, случайно, была свидетельницей его отчаяния. Кроме того, он угадывал в сердце своей юной сестры такое же страстное желание жить и любить.

Барбара сочувствовала ему всей душой, и ей было жаль миссис Ноэль. Как она должна была тосковать в своем уединенном коттедже. Молодая девушка возмущалась.

С какой стати они должны приносить эту жертву? Этим оплакивая свою судьбу! Ради чего? Если они не могут быть счастливы порознь, то пусть будут счастливы вместе! Несмотря на полученное ею воспитание, Барбара склонна была восставать против внушаемых ей правил морали и религии. Она не могла подчинить им свою жизнь. Сидя возле брата, который лежал на траве и задумчиво смотрел на небо, Барбара думала о том, чем бы утешить его. Но она должна была сознаться себе, что совсем не знает, как он смотрит на вещи. Ей было досадно, что он страдает, между тем как от

него, ведь, зависело изменить все и прекратить эти муки. Надо было только действовать.

— Жизнь коротка, Эсти, — вдруг сказала она.

— Если бы ты могла убедить меня в этом, Баб, то я бы благословил тебя, — отвечал Мильтоун. — Если бы я знал, что все это ничего не означает, и пение птиц и голубое небо над ними… Если бы я только мог поверить в то, что наша жизнь бесцельна!.. Убеди меня в этом, умоляю тебя!..

Пораженная тоном, каким он произнес эти слова, Барбара прошептала:

— О, Эсти, не принимай так близко к сердцу. Если ты думаешь, что жизнь коротка, то к чему тратить ее на такие чувства, как сострадание.

— В старину мы отправлялись в Тоуэр за наши убеждения. Надеюсь и теперь мы можем вынести личные испытания. Или мы все уже никуда не годимся?

Барбара несколько задетая его словами, возразила резко:

— Полагаю, что мы можем перенести все, что мы должны перенести. Но зачем мы будем сами создавать себе мучения? Вот этого я не могу понять. Я люблю жизнь, — прибавила она.

Душевная тоска сделала Мильтоуна более восприимчивым к чувствам других, и он чутьем

угадал, что творится в сердце сестры, ее смятение и страстное желание расправить свои крылья и жадными устами прильнуть к кубку жизни… Но он ничего не сказал и только крепко сжал ее руку. Однако, ему все-таки было неприятно сознавать, что ему изменила обычная холодная сдержанность и Барбара была свидетельницей его слабости. Поэтому он воспользовался первым подходящим предлогом, чтобы остаться одному. Гарбинджер, также как Мильтоун и Барбара, провел бессонную беспокойную ночь. Его преследовало видение: белая воздушная фигура девушки с блестящими глазами и полуоткрытыми губами, прильнувшая во время танца к мужественной фигуре Куртье. Ревнивое чувство не давало покоя Гарбинджеру. Он угрюмо молчал, танцуя с Барбарой, едва удерживаясь от колких намеков на «нахального красноволосого парня», которого он за глаза называл «чемпионом проигранных дел». Возвращаясь домой с бала, Гарбинджер решил поговорить с ней. В конце концов, она должна принадлежать ему. Он не допустит, чтобы кто-нибудь вырвал ее из его рук. Но, когда через несколько дней он снова очутился возле Барбары, то вся его решимость и уверенность сразу испарились.

Он ехал рядом с ней верхом, смущенный и подавленный мыслью; что она так близко от него и в то же время далеко. Его раздражало ее спокойствие и самоуверенность. Он любил и ненавидел ее в эту минуту. Когда он увидел ее, едущую по берегу верхом, то почувствовал болезненный укол в сердце. Он искал этой встречи и в то же время боялся ее.

Он догнал ее, когда она подъезжала к дому. Она соскочила с лошади и пошла по дорожке, которая вела к теплицам. Увидав цветущие гвоздики, она присела на землю и стала собирать их. У Гарбинджера закружилась голова, и, прежде чем он успел опомниться, он уже обнимал ее и покрывал поцелуями ее руки и лицо. Она, по-видимому, не выказала никакого сопротивления, только щеки ее слегка зарумянились, но губы оставались пассивными, когда он целовал их. Это продолжалось одно мгновение. Гарбинджер пришел в себя и со страхом взглянул на Барбару. Ему показалось, что она с насмешливой улыбкой смотрит на него. Он готов был броситься перед ней на колени и молить о прощении, но мысль, что его кто-нибудь может увидеть, удержала его.

— Что со мной? Я сошел с ума! — проговорил он хриплым голосом, проводя рукой по глазам.

— Да, вы были сумасшедшим, — ответила она ему спокойно.

Он взял ее руку и, поднося к губам, прошептал дрожащим голосом:

— Простите меня, Баб.

С минуту она молчала, и он стоял перед ней с сильно бьющимся сердцем, не смея поднять на нее глаз. Но к его величайшему изумлению она снова также спокойно ответила:

— Я не сержусь… на первый раз.

Ее ответ больно уколол его. Разве она может любить его и говорить так хладнокровно? Разве она не рассердилась бы на него, если бы любила его? Но она спокойно поправляла прическу, приведенную в беспорядок его объятиями.

— Теперь мы пойдем в дом, — обратилась она к нему.

Гарбинджер пошел за ней.

— Я так люблю вас, — шептал он, задыхаясь. — Я отдам вам мою жизнь, и вы можете делать с ней, что хотите.

Она посмотрела на него с какой-то загадочной улыбкой, смысл которой остался для него не ясен.

Обед в этот вечер прошел среди всеобщего, напряженного молчания. Мильтоун был занят

своими мыслями и не замечал того, что делается вокруг него. Но от проницательных глаз леди Кастерлей ничто не могло укрыться. Она поняла, что Гарбинджер сделал какой-то решительный шаг. Когда все разошлись, старуха попросила Барбару проводить ее в ее комнату. Это была ее «святая святых», и обыкновенно она не любила, чтобы к ней входили и нарушали ее уединение. Тут, в комнате, были собраны все ее любимые вещи, ее реликвии и, среди них она любила проводить тихие, уединенные часы перед отходом ко сну.

Усевшись в большое, уютное кресло, перед письменным столом, она окинула испытующим взглядом крепкую, стройную фигуру внучки и проговорила:

— Пойди, поцелуй меня. Так. Я вижу, что ты взялась наконец за ум.

Барбара нагнулась и вдруг увидела, что из глаз старухи медленно катились слезы. Чтобы не смутить леди Кастерлей, Барбара отошла к окну, сделав вид, что она ничего не заметила.

Глава XXVIII

Через три дня после своего первого и последнего (как он сам говорил себе), выезда в большой свет, Куртье получил записку от Одри Ноэль, сообщавшей ему, что она уехала из Монкленда и поселилась в Лондоне, недалеко от Вестминстера.

Куртье тотчас же отправился к ней, но не застал ее дома. Горничная сказала ему, что она скоро вернется, поэтому он уселся в кресло у окна, чтобы подождать ее прихода. Когда миссис Ноэль вернулась с целой охапкой цветов в руках, то застала его крепко спящим. Она не стала будить его и бесшумно двигалась по комнате, расставляя цветы в вазах.

Наконец, он проснулся и, не выказывая ни малейшего смущения, заметил ей:

— Как это похоже на вас! И отчего было не разбудить меня?

Она села возле него и тоже начала смотреть в окно. Куртье тотчас же заметил, что она старалась казаться спокойной и беспечно разговаривала о разных пустяках, боясь выдать то, что у нее было

на сердце. Она избегала упоминать имя Мильтоуна и не спрашивала о нем ничего.

Он ушел от нее с тяжелым сердцем. Вечером он должен был присутствовать на собрании в доме лорда Валлейса, так как это собрание, — последнее в этом сезоне, — носило политический характер. Поднявшись по широкой каменной лестница и тотчас же окруженный знакомыми, Куртье увидел Гарбинджера, который сухо кивнул ему головой. Красивое лицо молодого лорда показалось ему, более чем когда-либо, надменным и самодовольным. Насмешливо улыбнувшись, Куртье прошел мимо, чтобы засвидетельствовать свое почтение леди Валлейс, которая стояла, точно полководец, окруженная свитой, в конце залы.

Туда непрерывным потоком направлялись прибывающие гости, чтобы потом рассеяться по разным комнатам, где уже можно было видеть группы беседующих людей. Леди Валлейс с особенным радушием поздоровалась с Куртье. Она с любопытством наблюдала за ним, так как это была — редкая птица, — случайно попавшая в ее салон, с которой надо было обращаться осторожно, чтобы не раздразнить ее и не сделать опасной. Она спросила его, правда ли, что он

уезжает в Персию и выразила надежду, что он не станет еще более усложнять затруднительного положения, которое создалось там, затем со словами: «Как это мило, что вы пришли!» — она отпустила его и обратилась к другим гостям. Ведь ей необходимо было всегда оставаться в самом центре поля битвы.

Куртье отошел в сторону и, прислонившись к стене, стал смотреть на толпу, среди которой он чувствовал себя таким одиноким. Прислушиваясь к разговорам, он услышал критику речи Мильтоуна. Его называли — доктринером и крайним. Кто-то, впрочем, заметил, что это — восходящее светило. Однако, по-видимому, первое выступление Мильтоуна смутило многих. В сущности, никто толком не понял, к какому течению можно было бы его причислить. Он был слишком замкнут и избрал какую-то свою линию. Большинству это не нравилось.

Разыскивая Барбару в толпе, Куртье не мог отделаться от непривычного ему чувства неловкости и стыда. В сущности, он, ведь, и пришел сюда, в это совершенно чуждое общество, только для того, чтобы увидеть Барбару. Он должен был сознаться себе в этом. Но к чему ведет бесцельное ухаживание за этой девушкой? Ведь, он же

понимает, что не мог бы и недели выдержать в той атмосфере, среди которой она живет, и знает также, что она совсем не подходит для той жизни, которую вел он. Притом же совершенно невозможно, чтобы девушка ее лет могла увлечься человеком вдвое старше ее.

— Мистер Куртье.

Куртье оглянулся и увидел Барбару.

— Мне надо поговорить с вами… об одном серьезном деле. Не пройдете ли вы со мной в картинную галерею?

Они прошли в глубь залы, где на мольберте помещалась большая картина — семейная группа Карадоков. Эта картина могла скрыть их от глаз остальной толпы, и они могли разговаривать без помехи.

— Мильтоун ужасно несчастлив, — сказала Барбара. — Я не знаю, что делать! Ведь, в конце концов, он заболеет от горя!

Она посмотрела ему прямо в глаза, и Куртье, почувствовал себя глубоко растроганным. Это юное существо, казалось, искало у него поддержки и совета. Она как будто хотела, чтобы он объяснил ей, в чем заключается смысл жизни и тайна счастья.

— Я не знаю, чем я могу помочь, — заметил он

ласково. — Миссис Ноэль теперь здесь, в городе. Но пользы от этого мало. Разве только…

Он запнулся, но Барбара, точно угадывая его мысль, прошептала:

— Я бы хотела быть Мильтоуном.

Куртье должен был сделать над собой огромное усилие, чтобы сдержаться и не завладеть руками девушки, стоявшей так близко. В ней было что-то мятежное, и это действовало на него. Кровь прихлынула к его сердцу, но Барбара как будто угадала, что в нем происходит и холодно заметила:

— С моей стороны нехорошо, что я надоедаю вам своими проблемами.

— Вы не можете надоесть мне.

Она взглянула ему прямо в глаза и спросила:

— Правда ли, что вы едете в Персию?

— Да.

— Я бы не хотела, чтобы вы уезжали сейчас, — вдруг сказала она и, круто повернувшись, оставила его одного.

Смущенный этой выходкой, Куртье остался стоять неподвижно, вперив взор в Карадоков времен Георга II. Вдруг сзади него раздался голос:

— Не правда ли хорошая картина?

Это был лорд Гарбинджер. Куртье внезапно

вспомнил слова леди Кастерлей и две фигуры, стоявшие на балконе в день выборов и державшиеся за руки. Скрытая, подавленная ревность к этому молодому колоссу вспыхнула с новой силой в сердце Куртье вместе с сознанием, что его дело проиграно. Да разве могло быть иначе? Имел ли он даже право думать иначе?

Буря чувств, поднявшаяся в душе Куртье, лишила его на мгновение дара речи, и он только устремил пристальный взгляд на молодого лорда. Но и у того лицо внезапно изменилось под влиянием глухого гнева, поднявшегося в нем.

— Я сказал, что это хорошая картина… мистер Куртье, — повторил он резко.

— Я вас слышал.

— Что же вы ответите мне на это?

— Ничего.

— Ответ вполне достойный вас.

Куртье холодно прервал его:

— Прошу вас, выберите другое место, если хотите говорить мне подобные вещи.

Не прибавив больше ни слова, он резко повернулся на каблуках и смешался с толпой, чувствуя, что хладнокровие и сдержанность оставляют его.

Покинув блестящее общество, в котором он

был совсем чужой, Куртье невольно заскрежетал зубами.

Глава XXIX

На следующий день, около четырех часов, Барбара вышла пешком из дома одна. Она решила во чтобы то ни стало повидать Мильтоуна и поговорить с ним. Барбара еще ни разу не была в помещении, где находилась адвокатская приемная ее брата, и ей даже было интересно посмотреть его берлогу. Один из молодых клерков, которого она встретила на лестнице, провел ее по коридору и показал его дверь. Барбара постучала, но ответа не было. Так как Мильтоун, в сущности, не занимался адвокатской практикой, то отсутствие его Барбару не удивило.

Все пространство между двумя окнами занимала огромная карта Англии, а по стенам тянулись полки с книгами. Против карты стоял большой письменный стол, покрытый грудой бумаг. Барбара с любопытством подошла к нему и увидела листы, исписанные топким почерком брата. Рассмотрев их, она догадалась, что Мильтоун работает над книгой по земельному вопросу.

Однако комната произвела на Барбару унылое впечатление. «Как здесь не уютно!» — подумала

она. Подойдя к окну, она увидела внизу, во дворе, цветник. Тотчас же у нее появилось желание пойти туда, но вдруг она услышала чей-то голос и обернулась. Но в комнате по-прежнему было пусто. Однако, она ясно слышала отрывистые фразы, исходящие неизвестно откуда. Это было так страшно; что она даже невольно сделала шаг к двери, но, устыдившись своего малодушия, вернулась и обошла комнату еще раз. Что бы это могло быть. Голос продолжал говорить, но откуда — этого она не могла определить. Она взглянула на бюсты, стоящие в величавом спокойствии на полках. Уж, конечно, не оттуда раздавался голос.

В недоумении она еще раз осмотрелась и сразу поняла, в чем дело! Дверь в следующую комнату была замаскирована книжным шкафом и слегка приотворена. Оттуда и доносился голос. Барбара решительно открыла дверь и вошла в следующую комнату.

Те, что она увидела, так поразило ее, что она остановилась на пороге. Ее брат в ночном белье, босой, сидел на неубранной постели. Волосы его были растрепаны, глаза блестели лихорадочным огнем и он что-то бормотал, бессвязное и странное. Однако, сознание тотчас же как будто вернулось к нему, когда Барбара подошла и до-

тронулась до его пылающего лба.

— Откуда ты взялась? — спросил он.

— О, Эсти! — воскликнула Барбара. — Ты болен?

— Пустяки. Я просто переутомился… схватил лихорадку.

— Вижу. Но ты должен лечь в постель. Поедем домой.

— Для моей болезни нет лекарства, — проговорил оп, улыбаясь, и эта улыбка больно кольнула Барбару.

— Я не могу оставить тебя в таком состоянии, — воскликнула она.

— Вздор. Ты сделаешь то, что я тебе скажу. Моя милая Баб, отправляйся домой и держи язык за зубами. Меня же оставь в покое, я сам справлюсь со своей болезнью.

Однако, через минуту он опять начал бредить, принимая Барбару за Одри Ноэль. Барбара в ужасе вышла из комнаты и поспешила к телефону, чтобы вызвать Куртье.

Глава XXX

Одри Ноэль только что вернулась домой из национальной галереи, где она проводила иногда долгие часы. Там она не чувствовала себя такой одинокой, как у себя дома, в шумном и чуждом ей Лондоне.

Горничная, отворившая ей дверь, предупредила ее, что в гостиной ее ждет «леди Карадок».

Барбара стояла посредине комнаты с таким решительным видом, какой иногда замечался у ее отца во время бурных заседаний кабинета или на бегах.

— Я узнала ваш адрес от мистера Куртье, — сказала она. Мой брат болен. Я боюсь, что у него горячка. Мне кажется, вы должны поехать к нему. Терять времени нельзя. Он совершенно один. Он не звал вас, но я думаю, что ваше присутствие будет полезно. Он принимал меня за вас. Вы как-то говорили мне, что вы хорошая сиделка.

— Да, я сейчас же поеду с вами, — проговорила дрожащим голосом Одри Ноэль.

Ноги у нее подкашивались и ей казалось, что все вещи кружатся перед ее глазами. Но, тем не

менее она скоро овладела собой и, сказав Барбаре, что через минуту будет готова, пошла уложить необходимые вещи в маленький чемодан, который взяла с собой. Барбара сказала ей, что кэб ждет их у дверей. Во время пути она держала ее за руку и Одри Ноэль чувствовала ее крепкое, теплое пожатие.

Барбара никому не сообщала о болезни брата. Она по собственной инициативе пригласила врача и два раза в день заходила на квартиру брата, чтобы узнать о его положении. Ее мать и отец уехали из Лондона к лорду Деннису, и Барбаре пришлось пустить в ход всю свою хитрость, чтобы остаться в городе. Впрочем, она сказала, что нужна брату, и что он просил остаться. Этого было достаточно.

Ни леди, ни лорд Валлейс не спрашивали больше никаких объяснений. Они оба испытывали некоторую неловкость при мысли о Мильтоуне и поэтому избегали говорить о нем даже между собой.

На шестой день, когда миновал кризис и лихорадка исчезла, Барбара решила поехать в Неттльфольд, где были ее отец и мать. Барбара нисколько не боялась их. Вообще она, не боялась никого и чувствовала робость только в присут-

ствии Мильтоуна, да еще, как это ни странно, в присутствии Куртье.

— Мама, — сказала Барбара без всякого предупреждения. — Евстафий был очень болен. Теперь он вне опасности и уже начал поправляться. Миссис Ноэль ухаживает за ним, — прибавила она, строго взглянув на растерявшуюся от изумления мать.

В самом деле, она не нашлась даже, что ответить дочери. Разве молодая женщина может ухаживать за молодым мужчиной при подобных обстоятельствах, не подвергая себя толкам, вредным для ее репутации? Что скажет свет на это? Как это могло случиться?..

Но Барбара, не обращая внимания на негодование матери продолжала:

— Я сама отвезла ее к нему. Это единственное, что можно было сделать, потому что он тосковал по ней. Впрочем, никто не знает об этом, за исключением доктора и горничной Стасей.

— Господи — воскликнула леди Валлейс.

— Но это спасло его.

Материнский инстинкт леди Валлейс вдруг взял верх над ее боязнью скандала и она с трепетом спросила:

— Баб, ты не обманываешь меня?.. В самом деле,

он вне опасности? Как это дурно с твоей стороны, что ты не дала мне знать!

Но дочь оставила без внимания этот упрек и леди Валлейс начала возмущаться тем, что горничная Стасей была посвящена в такое дело.

— Она хитрая, эта девушка, — вдруг сказала леди Валлейс. — Горничные всегда бывают причиной скандала.

И она рассказала дочери об одном великосветском скандале, случившемся недавно, в котором горничная тоже играла известную роль.

Барбара улыбнулась.

— Я не вижу тут повода к насмешке, — заметила ей мать недовольным тоном.

— Но, милая мама, ведь Стасей ничего не знает об этом. Я и не думала посвящать ее, — весело сказала Барбара.

— Ах, ты маленькая плутовка! — засмеялась леди Валлейс. — Всегда ты меня собьешь с толку.

Потом, окинув дочь испытующим взором, леди Валлейс прибавила:

— Пойди, переоденься. Вечером приедет Клод Гарбинджер со своею матерью, Берти и Лили Мальвезен.

Когда Барбара ушла, леди Валлейс тоже занялась своим туалетом, но мысли ее были всецело

поглощены новостью, которую ей сообщила дочь. В ее душе боролись самые разнообразные чувства: тревога за сына и светская осторожность. Она всегда была склонна сочувствовать любовным делам, но здесь к ее сочувствию примешивалась забота о карьере ее сына. Может быть, и теперь еще не поздно вмешаться, чтобы предупредить решительный шаг, который мог бы испортить эту карьеру. В всяком случае, «эта женщина» не авантюристка, с этим согласны все. Барбара говорит, что она самоотверженно ухаживала за ним, спасла ему жизнь, этого забывать нельзя!

Покончив со своим туалетом, леди Валлейс пошла в комнату дочери. Барбара в вечернем платье, уже готовая к приему гостей, облокотившись на окно, смотрела на море, видневшееся за деревьями парка.

— Скажи мне, дорогая, Евстафий уже встал с постели? — робко спросила леди Валлейс.

— Он должен был встать сегодня, часа на два.

— Ну, а как ты думаешь, если мы с тобой поедем к нему и сменим миссис Ноэль возле него, не повредит это ему?

— Бедный Эсти!

— Да, да… Но я прошу тебя сказать, повредит ли это ему?

Барбара с минуту колебалась, но затем чистосердечно заявила:

— Нет… я не думаю… Но, во всяком случае, пусть это решит доктор.

— Конечно, конечно, — согласилась леди Валлейс, испытывая большое облегчение. — Мы поедем к нему и увидим сами. Мне кажется, надо будет взять сиделку.

Барбара промолчала. Взглянув на дочь украдкой, леди Валлейс прибавила:

— Я буду с «ней» очень приветлива, ты увидишь. Но, Баб, не надо быть слишком романтичной… ты знаешь.

Однако, что думала об этом Барбара, для леди Валлейс оставалось тайной. Тонкая усмешка, скользившая по губам девушки, была не проницаема и леди Валлейс снова почувствовала неловкость, которую не раз испытывала во время разговора с дочерью. Но на этот раз сюда примешалось еще чувство тревоги. Баб и Мильтоун одинаково были способны совершить какую-нибудь безумную выходку.

Барбара не спешила сойти вниз. Она знала, что Гарбинджер с нетерпением ожидает ее прихода, но образ Куртье упорно стоял между ним и ею. На последнем рауте, в доме родителей Барбара

старательно избегала Гарбинджера, и он это почувствовал. Когда после обеда все общество спустилось в парк, то он, идя рядом с Барбарой, испытывал странное томление и тоску. Его ум, человека делового и практичного по преимуществу, не мог понять этой девушки, ни ее порывов, ни ее неудовлетворенности. Тут было что-то такое, что выходило за рамки его жизненной философии. Но эта девушка манила его, ее близость волновала до степени физического страдания.

Барбара шла молча рядом с ним, задумчивая и рассеянная.

Наконец, он не выдержал и шепотом спросил ее:

— Баб, вы простили меня?

Она отвечала холодно и самым естественным тоном:

— Да. Ведь я же вам сказала.

— И это все, что вы можете сказать мне?

— Поговорим лучше о скачках.

Гарбинджер подавил проклятие, готовое сорваться с его уст. Ведь должна же быть причина, заставляющая ее так обращаться с ним. Наверное, это рыжеволосый парень.

— Скажите мне — проговорил он глухом голосом и вдруг запнулся, как будто что-то сдавило

ему горло. Нет, лучше он не будет спрашивать ее. Если тут что-нибудь есть, то лучше не знать. Всему есть предел.

Мимо них, по морскому берегу, скрываясь в тени, деревьев тихо прошла, обнявшись какая-то влюбленная парочка. Барбара молча повернула назад и быстрыми шагами направилась к дому.

Глава XXXI

Исполняя принятое решение, леди Валлейс, на другой же день, с утренним поездом уехала в Лондон, а в три часа пополудни отравилась к сыну, но по дороге заехала к доктору. Как просто уладилось бы дело если бы можно было Евстафия перевести домой! К ее великому облегчению, доктор не видел никакой опасности в этом для больного. В самом деле, он был очень доволен своим пациентом. Крепкий, здоровый организм лорда Мильтоуна, преодолел болезнь.

— Да, да, он положительно высказывается в пользу переезда! В его комнатах слишком душно в такую погоду. Хороший ли уход был за ним? О, да… превосходный! Доктор при этом с какой-то странной пристальностью взглянул на леди Валлейс. Или это ей показалось?.. Само собой разумеется, что это не был профессиональный уход, но тем не менее… теперь можно пригласить настоящую сиделку, если леди Валлейс желает… Он будет телефонировать. Конечно он советует перевести больного в карете скорой помощи. Это все можно устроить сегодня же. Он сам присмот-

рит за этим. А потом, когда у больного появится хороший аппетит, его надо увезти к морю. В это время года ничего не может быть лучше.

Поговорив еще насчет режима, который необходимо соблюдать выздоравливающему и насчет необходимости безусловного покоя и отдыха, — всякий умственный труд должен быть воспрещен в течение некоторого времени, — словоохотливый доктор проводил до двери свою посетительницу, обещав ей сделать все нужные распоряжения, относительно сиделки и переезда больного. Тонкая усмешка блуждала по его гладко выбритым губам, когда он, вернувшись в свой кабинет, взялся за телефонную трубку.

Разговор с доктором подействовал очень успокоительно на леди Валлейс. Она с оживлением передала Барбаре, дожидавшейся ее в экипаже, слова доктора, но потом вдруг уверенность ее покинула, и она с некоторою боязнью сказала:

— Я бы хотела, чтобы это сделал кто-нибудь другой. А вдруг он откажется?

— Нет. У нее такой утомленный вид, бедняжка. И еще…

Барбара не договорила. Леди Валлейс с тревожным любопытством взглянула на свою дочь и сказала с ударением:

— Это был необдуманный поступок с твоей стороны, Баб. Будем надеяться, что он не повлечет за собой никаких дурных последствий.

Барбара закусила губы и вспыльчиво возразила:

— Если бы вы видели его в ту минуту! И какие это дурные последствия? Отчего им не любить друг друга, раз они этого хотят?

Леди Валлейс отвернулась. В глубине души она разделяла взгляд своей дочери. Но все-таки…

— Ты забываешь, — сказала она после минутной паузы, — что за человек твой брат.

— Разве эта бедняжка должна вечно сидеть в своей клетке, — вскричала Барбара. Какую пользу принесет это кому бы то ни было? Знай, мама, что если я захочу вырваться на свободу, то я буду свободна.

Вызывающий тон, которым молодая девушка произнесла эти слова, заставил вздрогнуть леди Валлейс. Она взяла дочь за руку и ласково проговорила:

— Моя голубушка, нельзя говорить подобные вещи.

— Вот еще! Я говорю, то что думаю. Никто не удержит меня.

Лицо Леди Валлейс сделалось серьезным.

— Мы все так думаем, дитя, но это не так просто, — сказала она.

— Но это все же лучше, чем быть похороненной заживо, как эта несчастная женщина, — пробормотала Барбара.

Леди Валлейс, не желая продолжать разговор на эту тему, заметила:

— Кажется доктор сказал, что в четыре часа пришлёт за Мильтоуном карету скорой помощи. Я совсем не знаю, что мне сказать ей…

Дверь отворила сама миссис Ноэль. Леди Валлейс в первый раз видела ее так близко и со смешанным чувством любопытства и невольной симпатии взглянула на нее. В самом деле, какая хорошенькая женщина и как она мила!.. Леди Валлейс самым искренним тоном поблагодарила ее и терпеливо сказала:

— Доктор говорит, что его надо перевезти домой отсюда. Здесь слишком душно. Мы подождем, пока вы предупредите его.

И леди Валлейс сразу почувствовала, что Барбара была права: миссис Ноэль принадлежала к числу людей, которые все понимают без слов.

Однако какая-то странная неловкость не покидала леди Валлейс. Точно она совершила какое-то злое дело. Леди Валлейс посмотрела на дочь,

Барбара стояла, закинув голову назад. Ее лицо нельзя было рассмотреть, но в ее позе было что-то такое, что еще увеличило неприятное чувство, овладевшее ее матерью.

— Мама, — вдруг прошептала Барбара, — ты заметила ее лицо? Так на тебя смотрит цветок, когда ты срываешь его.

— Милая моя, что за вещи ты говоришь сегодня! — воскликнула леди Валлейс в смущении.

Дверь открылась, и она увидела сына, сидящего в кресле. Он был очень бледен, но в глазах его было все то же загадочное выражение, которое всегда заставляло робеть леди Валлейс и даже стыдиться своей условной светской морали.

И на этот раз она робко заговорила с сыном.

— Я так рада, что тебе лучше, дорогой мой! Какой ужас — твоя болезнь!.. Так неприятно, что я узнала об этом только вчера.

Ответ Мильтоуна как всегда привел ее в замешательство:

— Да… да… благодарю…. Мне было очень хорошо. И, по всей вероятности, мне придется расплачиваться за это теперь.

Улыбка сына точно пригвоздила к месту бедную леди Валлейс. Она даже не решилась поцеловать его. На глазах ее невольно навернулись слезы и

это не ускользнуло от Мильтоуна. Он сказал:

— Хорошо, хорошо, мама. Я готов ехать с тобой.

Однако, уязвленная его топом, леди Валлейс не вымолвила больше ни слова и только украдкой наблюдала за ним и за миссис Ноэль, во время приготовлений к отъезду. Они, впрочем, совсем не смотрели друг на друга, и если глаза их случайно встречались, то выражение их сбивало с толку леди Валлейс. Вообще, ей казалось, что они оба принадлежат к какому-то другому миру, ей неизвестному и непонятному.

Наконец Мильтоуна усадили в карету и леди Валлейс вздохнула свободно. Но ей хотелось сказать еще несколько ласковых слов миссис Ноэль.

— Мы вам так обязаны, — проговорила она. — Ведь это могло плохо кончиться. Но вы не должны огорчаться. Вам надо хорошенько отдохнуть.

В дверях она еще раз обернулась и прошептала:

— Он сам придет к вам придет к вам и поблагодарит вас…когда будет здоров.

Барбара вдруг оставила мать и побежала назад в комнату.

— Я хочу принести лилий Евстафию… ему будет приятно иметь их.

Миссис Ноэль стояла на коленях возле покину-

той кровати, прижав лицо к подушке, на которой только что лежал Мильтоун.

Барбара чуть слышно вошла и, взяв со стола несколько лилий, также тихо удалилась из комнаты.

Глава XXXII

Мильтоун поправлялся очень быстро и, по совету доктора, его перевезли через неделю к морю, где он был на попечении Барбары. В течение двух недель он только один раз, не называя, однако имени миссис Ноэль, повторил сказанные ею слова. Сидя на берегу и устремив глаза в лазурную даль, он заметил:

— Я почти готов верить теперь в ее теорию, что древние боги еще не умерли. Ты когда-нибудь видишь их, Баб? Или ты также нечувствительна, как и я? Она говорит, что мы можем слышать голос поющего Аполлона. Впрочем, это только она слышит его.

Барбара понимала, что «она» — это миссис Ноэль.

Мысли Мильтоуна постоянно возвращалась к ней. Барбара ясно видела это. Поэтому, когда Мильтоун поправился настолько, что она могла уже спокойно оставить его одного, то она поехала в Лондон и тотчас же отправилась к миссис Ноэль. Впрочем, Барбарой двигало, в данном случае, не только сострадание к этой молодой женщине,

сколько беспокойство и странное любопытство. Может быть, она действительно сделала ошибку, позвав миссис Ноэль к брату, когда он заболел.

Миссис Ноэль сидела с книгой в руке, когда вошла Барбара, но Барбара сразу поняла, что она не читала и что мысли ее были далеко. В ее глазах она подметила такое же странное, блуждающее выражение, как в глазах брата. Но не успела она отдать себе отчета в этом, как вошла горничная и доложила о приходе мистера Куртье.

Была ли это простая случайность или же он хорошо рассчитал, после получения им записки от Барбары, в которой она сообщала ему о здоровье Мильтоуна и о своем желании приехать в Лондон и навестить миссис Ноэль, что она должна быть здесь, в этот день, Барбара решить не могла. Точно также она не могла уяснить себе собственные чувства, когда увидела Куртье. Во всяком случае у него был взволнованный вид, когда он пожимал ей руку, а она отвернулась, чтобы он не мог ничего прочесть на ее лице.

Куртье сказал миссис Ноэль, что он пришел прощаться с ней. Он окончательно решил ехать в Персию на будущей неделе. Там дела запутываются все больше и больше. Надо идти на помощь персидским революционерам и сражаться в их

рядах. Ему давно уже следовало уехать туда.

Барбара стояла у окна и смотрела на улицу, когда он говорил. Но тут она вдруг повернулась к нему и проговорила:

— Вы, ведь, проповедовали мир два месяца тому назад?

Куртье, склонил голову перед ней.

— Мы все недостаточны последовательны, леди Барбара, — отвечал он. — А эти бедняки, к тому же, сражаются за святое дело.

— Мне кажется, вы считаете их дело святым только потому, что они слабая сторона, — возразила она. — Но мир принадлежит сильным. Прощайте, миссис Ноэль.

Барбаре хотелось почему-то уколоть Куртье и по его тону она поняла, что это ей удалось.

— О, не говорите так, леди Барбара! — воскликнул он. — Пусть это говорит ваша мать, а не вы.

— Это то, во что я верю — сухо возразила она. — Прощайте.

Он уезжает. А между тем, она ведь сказала ему, что не хочет, чтобы он уезжал. Барбара с трудом сдерживала свой гнев и глубокое огорчение. Она до боли закусила губы. Вот как они простились друг с другом! Она была раздражена, и он тоже. Но он вовсе не интересуется ею. Пусть так. И он

безразличен совершенно.

— Не позвать ли извозчика для вас? — услышала она голос Куртье позади себя.

Ее гнев сразу испарился. Она ничего не ответила, а только улыбнулась и сделав головой отрицательный знак, пошла рядом с ним. Некоторое время они шли молча. Желание узнать наконец, что чувствует человек, заставить его сбросить свою сдержанность, обнаружить свои настоящие чувства к ней, — все сильнее и сильнее овладевало Барбарой. Она шла, потупив глаза, чтобы не выдать их блеска; щеки ее горели, а на устах блуждала улыбка. Но это ничуть не смущало ее. Напротив. Она думала: «теперь он заговорит. Он должен наконец заговорить… показать мне, что он чувствует не прикрываясь иронией!»

Она подняла на него глаза и сказала:

— Мне кажется, что те, оба, словно ждут чего-то. Что-нибудь должно случиться.

— Это очень вероятно, — ответил он задумчиво.

Она взглянула на него и заметила, что он вздрогнул. Ей это было приятно, и она тихо прибавила:

— Я думаю, что они будут правы.

Это были смелые слова, и Барбара знала это, но ей было все равно. Она не думала о том, как

он объяснит их, но знала только, что звучащий в них дух протеста должен подействовать на него. И она видела по его лицу, что угадала верно.

— Счастье — великая вещь, не так ли, мистер Куртье? — прибавила она тихим вкрадчивым голосом.

Его лицо сразу побледнело. Он поднял руку, точно хотел отразить удар и тотчас же беспомощно опустил ее. У Барбары сжалось сердце.

— Да, но к сожалению, оно так обманчиво. Но жизнь сама по себе удивительно занятная вещь. Она играет шутки с человеком.

— Как теперь? — спросила она.

— Да, как теперь, — отвечал он, серьезно поглядев на нее.

Чувство глубокого унижения и обиды овладело Барбарой. Он был слишком силен для нее… Она ненавидит его этого Дон Кихота!

С усилием подавив свое возмущение, она спокойным голосом попросила позвать извозчика.

Когда он посадил ее в экипаж и стоял перед ней, сняв шляпу, она украдкой взглянула на него. Но он не заметил ее взгляда.

Мильтоун, конечно, тотчас же по приезду в Лондон, отправился к миссис Ноэль, чтобы поблагодарить ее за уход за ним. И в это первое

свидание, после его болезни, они оба, казалось, забыли обо всем, кроме счастья видеть друг друга. Они сидели и разговаривали, как в былые дни в Монкленде обо всем, что интересовало их. Он говорил о своей первой парламентской речи, о впечатлении, которое произвела на него палата общин, о музыке, о Барбаре, о Куртье, о реке, протекающей перед окнами… Он рассказывал о своем пребывании на берегу моря, о своем времяпрепровождении, она же, по обыкновению, говорила о себе мало и больше слушала его. Но в этих простых, обыденных словах скрывался другой, глубокий смысл и каждый из них чувствовал это. Мильтоун вышел от миссис Ноэль и пошел по набережной, но потом снова вернулся и остановился у ограды ее дома. В гостиной уже было темно, но в широко открытом окне, точно в темной раме, как-то странно белел букет цветов в вазе. И вдруг Мильтоун увидел две бледные руки, которые протянулись к цветам.

Он вздрогнул, как будто эти руки притронулись к нему и едва сдержался, чтобы не позвать ее по имени… Но руки исчезли, словно их поглотила темнота… И вот из этой темной комнаты донеслись звуки музыки. Он слушал, как она играет и ему казалось, что это она зовет его. Звуки умолк-

ли. Белая, стройная фигура появилась в окне. Мильтоун почувствовал, что он уже не в силах бороться. Он сделал шаг вперед и свет фонаря упал на него. Она протянула к нему руки.

Безумное, страстное желание прижать ее к своему сердцу овладело Мильтоуном. Он быстрыми шагами прошел через палисадник и, едва переводя дух, взбежал по лестнице. Все, кроме нее и ее любви, перестало существовать для него.

Глава XXXIII

Прошло три дня после этой знаменательной ночи. Охваченный страстью Мильтоун как будто перестал сопротивляться. Но душевная борьба в нем не прекращалась.

В Лондоне думать было некогда, и поэтому он отправился один за город и шел в течение нескольких часов, пока не достиг тенистой и уединенной буковой рощи, покрывавшей один из холмов Суссекса. Там, среди торжественной тишины и спокойствия, господствовавших под зелеными сводами, точно в храме, Мильтоун хотел обдумать то, что произошло с ним. Положение он считал в высшей степени серьезным, но ни одну минуту ему не приходило в голову, что он может отступить после того, как зашел так далеко. Она принадлежала ему, а он ей, — это было окончательно решено, но что же дальше? Как он должен поступить? Не было никакой надежды на ее освобождение. Ее супруг считал брачные узы нерасторжимыми ни при каких обстоятельствах. Впрочем, и в глазах Мильтоуна развод не менял дела. Он глубоко верил в то, что они оба

согрешили и их грех не может быть искуплен браком. Правда, она ничего не требовала, она только хотела любить его втайне и скрываться в неизвестности.

Большинство мужчин, он знал это, — избрали бы этот путь, не раздумывая. Но он, он должен был сообщить об этом ее мужу и, конечно, сделает это. Но, даже если его связь не вызовет никакого публичного скандала, то все же разве он имеет право обманывать тех, кто разумеется, никогда не избрал бы его своим представителем, если бы знал о его незаконной любви? Ведь, если станет известным, что она его любовница, то он уже больше не может сохранять прежнего положения в общественной жизни! Его собственная честь обязывает его добровольно сложить с себя свои депутатские полномочия.

Целыми днями и ночами его преследовала одна и та же мысль: может ли он требовать от своих сограждан уважения к постановлениям и авторитету власти, если он сам будет втихомолку нарушать их? Может ли он продолжать общественную деятельность при таких условиях? А если он должен от нее отказаться, то что же он будет делать? К этой деятельности он столько лет готовился. Еще мальчиком он мечтал о полити-

ческой карьере, и никакие другие интересы не могли бы его отвлечь теперь от политики.

Мильтоун вошел в рощу. После знойной, пыльной дороги на него повеяло свежестью. Он лег на траву между деревьями, сквозь листву которых виднелось голубое небо. Кругом было тихо и только слышалось жужжание насекомых, да изредка чирикание птиц. Но смятенная душа Мильтоуна не находила покоя. Он думал о том, что именно так он будет лежать поверженным на землю, когда его силы будут отняты у него. Колесо жизни пройдет через него.

Безмолвие окружало его. «Точно могила», — думал он, смотря на неподвижные ветви, образующие свод над его головой. Мало по малу и на него оказали свое действие торжественное спокойствие и тишина этого места. «Разве одной любви недостаточно для счастья? — размышлял он. — Разве я не могу примириться с этим, как примиряется женщина? Разве в этом не заключается спасение? Какое значение имеет все остальное перед силой любви?»

И, точно боясь, что эта успокоительная мысль снова рассеется, как дым, он быстро вскочил и направился к выходу из рощи.

В этот день Мильтоун не явился к миссис Ноэль

и мучительные сомнения, всегда исчезавшие в его присутствии, снова завладели ею. Разве могло ее счастье быть прочным? Они были слишком разные люди. Она сознавало это, даже отдаваясь ему, даже испытывая счастье быть любимой им. Многое в нем было для нее непонятным. В природе и в поэзии он любил только все устоявшееся и определенное. Нежное, пылкое, утонченное, гармоничное, оставляло его равнодушным.

Она ждала его с четырех часов дня и по мере того, как проходило время, уныние все сильнее овладевало ею. Ее душа рвалась к Мильтоуну, и мысли ее блуждали по городу, ища его повсюду. Она пробовала заняться чем-нибудь, читала, играла, шила, но ничто не помогало, и тревога возрастала с каждой минутой. Отчего он так долго не приходит? Может быть, он опять заболел? Послать телеграмму? Но она не знает, где он находится… Эта мысль была ей невыносима. Она подбежала к окну и долго всматривалась в темноту, окутывавшую маленький палисадник перед подъездом. Вместе с тоской в ее сердце зарождался страх. Может быть это конец? Может быть, он решил покинуть ее без прощания?.. Нет, он не может быть так жесток! Она упрекнула себя за свой меленый, безумный страх. Наверное, он

задержался в парламенте! Какая-нибудь самая обыкновенная причина задержала его. Глупо так тревожиться!

Она решительно взяла книгу и села читать в ожидании его прихода, но мучительное чувство неизвестности мешало ей сосредоточиться, а, главное, сознание полного бессилия, невозможности что-нибудь сделать, чтобы узнать поскорее свою участь. Все равно, от нее ничего не зависит. Она узнает рано или поздно. И все-таки она не могла выдержать и, бросив книгу, пошла в спальню, в окно которой виднелась река, освещенная закатом.

Мильтоун пришел только в десятом часу вечера. Дрожа от волнения, она молча прижалась к нему, точно ища у него защиты от собственных мыслей. Это глубоко растрогало его. Она казалась ему такой нежной, хрупкой и беззащитной. Но, хотя ее волнение и действовало на него, тем не менее, он испытывал в душе какое-то глухое раздражение. В этот момент она воплощала в его глазах ту жизнь, на которую он должен отныне обречь себя — жизнь пассивную, заключенную в узкие рамки нежного чувства и лишенную всего того, что составляло прежде главный интерес для него.

Мильтоун долго не мог заставить себя сказать ей о своем решении. Казалось, она каждым своим взглядом, каждым движением умоляла его молчать. Но в характере Мильтоуна была известная непреклонная суровость, не допускавшая его уклоняться от однажды принятого решения.

Когда он высказал ей все, что у него было на душе, она сказала просто:

— Разве мы не можем скрывать от всех наши отношения?

Нечто вроде ужаса охватило Мильтоуна от этих простых слов. Он понял, что ему предстоит новая борьба. Это кроткое, любящее создание будет скрываться в тени всю жизнь. Он знал, что она никогда не предъявит ему никаких требований и свято будет хранить тайну их отношений. Но он сам, может ли он пойти на это.

— Я не могу построить свою жизнь на лжи, — сказал он, помолчав немного. — Какое право имею я руководить другими, если я сам не стану следовать защищаемым мною принципам? Я не похож на вашего приятеля Куртье, который верит в свободу. Я никогда в нее не верил и никогда не поверю. Свобода! Что она означает? Только тот, кто сам покоряется власти, имеет право управлять другими. Человек обыкновенно нарушает

закон только потому, что у него не хватает силы соблюдать его. Я не хочу быть одним из тех, про которых говорят: «Он умеет управлять другими, по сам не умеет управлять собой».

— Никто не будет знать.

— Я буду знать, я — почти крикнул Мильтоун и отвернулся. Он видел, что она не понимает его.

Ее лицо приняло странное выражение, испугавшее его. Мысль, что она не в состоянии понять этого, вызывала в нем раздражение. Он упрямо повторил:

— Нет. Я должен отказаться от политической деятельности.

— Но какое это имеет отношение к политике? Ведь, это такие пустяки!

Он не мог выдержать ее взгляда и, отвернувшись прошептал:

— Может быть, это все и пустяки, — я не знаю. Но я не вижу никакого пути перед собой. Я потерял направление и должен вновь найти его, прежде чем я в состоянии буду сделать что-нибудь.

— О, не будем менять ничего! — воскликнула она. — Я никогда не буду желать того, чего вы не можете дать мне.

Ее упорство теперь, когда он уже безвозврат-

но решил порвать со своей прежней жизнью и принести все в жертву своей любви, казалось ему странным и неблагоразумным. Зачем она настаивает на том, чтобы он не покидал политической арены?

— Я так решил — сказал он.

Но она с тоской повторяла:

— Не будем больше говорить об этом. О, нет, нет! Оставим все, как было раньше. Мильтоун чувствуя, что он уже больше не в силах выносить этот спор, положил руку ей на плечо и решительно проговорил:

— Довольно.

Потом вдруг чувство жалости и раскаяния наполнило его сердце, он обнял и притянул ее к себе.

Но она оставалась неподвижной в его объятиях, закрыла глаза, и не отвечала на его страстные поцелуи.

Глава XXXIV

В последний день перед закрытием парламента лорд Валлейс совершил обычную прогулку верхом. Погода была прекрасная, и он был в очень хорошем расположении духа. В парке он встретил много знакомых, которые осведомлялись у него о Мильтоуне, и он говорил им, что вообще доволен своим сыном.

— Мильтоун стоит «на дороге» и уже рвется в бой предстоящей осенью, когда вновь откроется парламентская сессия, — сказал он.

Встретив лорда Мальвезена, лорд Валлейс поддразнил его насчет ухаживания Берти за его женой.

— Если кто-нибудь в состоянии внушить Берти интерес к политике, так это только его хорошенькая кузина, Лили Мальвезен.

На обратном пути лорд Валлейс увидел Гарбинджера и пригласил его к завтраку. Гарбинджер имел какой-то угрюмым вид, и лорду Валлейс невольно вспомнились слова его жены относительно Барбары. В последнее время он мало видел свою дочь и, занятый делами, совсем забыл

о том, что ему говорила жена, и теперь это вдруг встревожило его. За завтраком никого не было, кроме леди Валлейс, Барбары и Гарбинджера. Разговор не вязался. Гарбинджер и Барбара были необыкновенно молчаливы. Леди Валлейс обдумывала свой последний доклад обществу, где она была председательницей. Доклад ей надо было составить до своего отъезда, а лорд Валлейс украдкой наблюдал за дочерью. Барбара казалась ему особенно задумчивой и рассеянной в этот день. Когда вошел слуга и доложил, что лорд Мильтоун дожидается в рабочем кабинете, то все почувствовали облегчение, так как приход Мильтоуна мог рассеять всеобщее напряженное состояние. Но слуга, которого послали за Мильтоуном, вернулся и сказал, что «лорд Мильтоун велел передать, что он уже завтракал, и поэтому подождет в кабинете».

— Он знает, что никого нет посторонних? — спросила леди Валлейс.

— Да, миледи, — отвечал слуга.

Леди Валлейс отодвинула тарелку и встала.

— Я уже закончила, — сказала она и направилась к двери.

Лорд Валлейс тоже пошел за ней, а Барбара и Гарбинджер остались в столовой. Лорд Валлейс

уже слышал о миссис Ноэль в роли сиделки. Будь его сын обыкновенным, нормальным молодым человеком, то лорд Валлейс только пожал бы плечами и улыбнулся. Теперь же он совершенно не знал, что думать об этом эпизоде. Проходя через салон, отделяющий столовую от рабочего кабинета, он сказал своей жене: — Должно быть, это опять та самая женщина, Гертруда… или… может быть, что-нибудь новое.

— Неизвестно, — ответила леди Валлейс со вздохом.

Мильтоун стоял в амбразуре окна, выходящего на террасу. Вид у него был бодрый, здоровый ни отец, ни мать ничего особенного не заметили в нем, когда он подошел с ними поздороваться.

— Ну, голубчик, я вижу, ты совсем поправился. Очень рад… Что скажешь нового? — обратился к нему лорд Валлейс.

— Новое только то, что я хочу отказаться от депутатского места, — спокойно ответил Мильтоун.

Лорд Валлейс привскочил:

— Как?.. Что случилось? — вскричал он.

Однако, леди Валлейс с проницательностью женщины тотчас же угадала причину, побудившую ее сына к такому внезапному решению, и,

густо покраснев, быстро проговорила:

— Глупости, мой друг. Это совсем не нужно, даже если…

Но, спохватившись, прибавила:

— Объяснись, пожалуйста.

— Очень просто. Я связал свою жизнь с жизнью миссис Ноэль, а лгать я не могу. Если это станет известным, то мне все равно придется сложить с себя полномочия.

— Господи! — воскликнула леди Валлейс, всплеснув руками.

— Я не могу оправдываться. Я считаю это долгом чести.

— Я думал, что ты ставишь свою страну выше своих частных дел, — сказал лорд Валлейс серьезно. — Я не понимаю твоего взгляда на вещи… никогда его не пойму.

— Это правда, — заметил Мильтоун.

— Слушайте меня вы оба, — вмешалась леди Валлейс. — Вы различно смотрите на вещи, но, вы не должны ссориться из-за этого. Я этого не хочу. Ты, Евстафий, наш сын и ты должен быть добрым и внимательным к нам. Садись сюда и поговорим.

И, указав своему мужу на стул, она села около окна. Мильтоун продолжал стоять. Леди Валлейс

вдруг испуганно спросила сына:

— Ты не сделаешь этого. Не будет публичного скандала?

Мильтоун усмехнулся.

— Я извещу ее мужа. Но вы можете быть спокойными, я думаю. Насколько я знаю, его взгляды на брак не допускают развода ни в каком случае.

Леди Валлейс вздохнула с облегчением.

— Хорошо, мой дружок, — сказала она, — если ты находишь это нужным, то, разумеется, ты должен все сказать ему. Но, без сомнения, нет никакой причины делать это общеизвестным.

Лорд Валлейс не дал ей договорить.

— Я бы хотел, — заметил он, сурово обращаясь к сыну, — чтобы ты объяснил, какая связь существует между твоей честью и отказом от депутатского места?

Мильтоун покачал головой.

— Если вы сами этого не видите, то объяснять будет бесполезно.

— Не вижу. Все это дело крайне прискорбно, но отказываться от работы, пока к этому нет абсолютной необходимости, кажется мне не только лишним, но и нелепым. Много ли мужчин, в жизни которых не было подобных связей? Ведь, если неуклонно проводить эту идею, то половина

нации окажется лишенной своих прав.

— Голубчик, — вмешалась леди Валлейс, от которой не ускользнула юмористическая сторона такого признания. Ты оценил слишком низко — не половина, а по крайней мере, три четверти.

Лорд Валлейс спохватился, почуяв опасность, и серьезно возразил:

— Это превосходит мое понимание. Зачем надо смешивать любовь с политикой.

Мильтоун ответил тихо, запинаясь, точно ему трудно было признаваться в этом:

— Есть нечто… простите, что я употребляю это слово… составляющее религию человека. Я не могу разделять свою жизнь на частную и общественную. Моя мечта… разрушилась. Я не вижу перед собой цели в общественной жизни… У меня нет уверенности.

Леди Валлейс взяла его за руку.

— Мой дорогой, — сказала она, — это слишком пуританский взгляд на вещи… слишком логический, я хочу сказать, — прибавила она поспешно, заметив странную усмешку на лице своего сына.

— Если ты не можешь сладить со своей совестью, — снова вмешался лорд Валлейс, — то будь мужественным, откажись от этой женщины и порви свою связь с ней.

— Прошу прощения, сэр, — холодно проговорил Мильтоун.

Леди Валлейс взяла его за руку.

— Евстафий, обещай мне, что ты не предпримешь никакого решительного шага, не повидавшись с дядей Деннисом?

Мильтоун улыбнулся.

— Это становится комичным, — сказал он.

В эту минуту за дверью послышался легкий шум.

Глава XXXV

Оставленная в столовой одна с Гарбинджером, Барбара предложила ему перейти в гостиную и велела туда подать кофе. Первый раз с того памятного дня, когда он, потеряв голову, поцеловал ее в саду, она осталась с ним наедине. Несмотря на свое кажущееся спокойствие, она испытывала легкое волнение, ожидая, что он скажет.

Последнее свидание с Куртье оставило в ее сердце какое-то щемящее чувство. Ей хотелось избавиться от него… Но Гарбинджер? Разве он представляет для нее что-нибудь новое, неизвестное? Тут все было ей знакомо, и она знала, что ожидает ее. Ее глаза, казалось, говорили ему: «Могу ли я быть уверена, что не пожелаю большего, чем вы можете дать мне? Не покажутся ли мне ваши объятия тюрьмой, в которой я буду задыхаться? Не почувствую ли я пресыщения от всего того, чем вы окружите меня? Разве это представляет для меня интерес новизны? Разве я не имела уже всего этого раньше»? Она видела, что он огорчен и ей было жалко его. Ей хотелось сказать ему что-нибудь приятное и она застенчи-

во проговорила:

— Вы сердитесь на меня, Клод?

— Отчего вы так жестоки? — спросил ее Гарбинджер.

— Я совсем не жестока.

— Вы жестоки. Где у вас сердце?

— Здесь. — Сказала, смеясь Барбара, показывая на грудь.

— Я вовсе не шучу, — возразил он. — Тут что-то кроется. Вы не имеете права дурачить меня.

— На что вы намекаете? — спросила она насмешливо.

— Вы сами знаете. Я не слепой. Какую роль играет в этой истории этот субъект, Куртье?

Глаза его мрачно сверкнули, руки сжались в кулаки. Мужская ревность самца заговорила в нем. Он совершенно преобразился. Куда девались его обычная мягкость и корректность? Нет, жизнь с ним не будет протекать так гладко, как она это думала раньше.

Гарбинджер подошел к ней совсем близко, пронизывая ее взглядом. Это длилось одно мгновение, но в это мгновение она испытала самые разнообразные чувства. Он привлекал и отталкивал ее одновременно и она не знала, что сильнее говорит в ее сердце, досада и возмущение или

же тайное удовольствие, которое доставляло ей сознание своей власти над ним?

Вдруг он проговорил хриплым от волнения голосом:

— О, Баб, вы сводите меня с ума!

Девушка загадочно усмехнулась в ответ и, оставив его одного, ушла в кабинет отца.

Там разыгрывалась немая сцена. Мильтоун стоял с угрюмым, решительным видом, а лорд и леди Валлейс, не находя слов, растерянно смотрели на него. Никогда еще Барбаре так не бросалось в глаза несходство между Мильтоуном и его родителями! Это показалось ей даже забавным.

Леди Валлейс заговорила первая.

— Я полагаю, что Барбаре надо объяснить в чем дело, так как она принимала в этой истории непосредственное участие. Твой брат, душа моя, отказывается от звания депутата, — сказала она, обращаясь к Барбаре. — Его совесть не позволяет ему оставаться. В виду известных обстоятельств.

— О! — Вскричала Барбара, — но, ведь…

— Мы уже говорили ему это, Баб, — прервал ее лорд Валлейс. — Если ты не можешь выдвинуть никаких других аргументов, кроме доводов здравого смысла и семейных соображений, то лучше уже не начинай об этом разговора!

— Эсти! — вскричала Барбара. — Неужели ты хочешь погубить свою политическую карьеру? Разве она требует этого?

— Нет.

— Подумай о бабушке! Она так верит в тебя Эсти, в твое будущее, так восторгается тобой.

Мильтоун вздохнул и ясно было, что в нем происходит тяжелая, внутренняя борьба. Наконец, он заговорил:

— Если я не уступил просьбам той, которая естественным образом составляет для меня многое в жизни, то, значит, я не могу поступить иначе. Я вижу, вы этого не понимаете… Если таково ваше желание, то я расскажу обо всем дяде Деннису, но я думаю, что это дело касается только меня одного.

И, не прибавив больше ни слова, он вышел из комнаты. Барбара хотела побежать за ним, но вдруг зарыдала и, закрыв лицо руками, облокотилась на книжный шкаф. Отец и мать растерялись. Они не видели плачущей свою дочь с тех пор, как она вышла из младенческого возраста. Лорд Валлейс, взволнованный подошел к ней и начал гладить ее по руке стараясь ее успокоить. Леди Валлейс, сама готовая расплакаться, отвернулась к окну:

— Зачем… зачем это? Это так не нужно! — лепетала Барбара, захлебываясь от слез.

— Я пойду поговорю с матерью, — внезапно сказала леди Валлейс. — Ведь, вся жизнь его будет погублена, если мы допустим это! Ты идешь со мной, дитя? — спросила она Барбару.

Но Барбара отказалась и ушла в свою комнату.

Кризис, происшедший в жизни Мильтоуна, странным образом отразился и на ней и потряс ее до глубины души. Как будто судьба внезапно раскрыла ей, к чему может привести отступление от проторенной дороги. Если Мильтоун исполнит свое решение и откажется от политической жизни, то, ведь, она погибла. Для нее это было ясно. А она сама? Что было бы с ней, если бы она поддалась обаянию Куртье? Да разве она действительно поддавалась его обаянию? Быть может, ей просто нравилось чувствовать над ним силу своего собственного обаяния. И вдруг она вспомнила Гарбинджера, его сверкающие глаза, сжатые кулаки и тайное удовольствие, которое она испытала, наблюдая этот взрыв чисто мужской ревности.

Ее мысли снова вернулись к брату, бедный Евстафий! Зачем он так серьезно относится к жизни? Это будет ужасно, если он выполнит свое

решение, — а он никогда не отступает. Это будет означать конец всему. Может быть, миссис Ноэль наскучит ему? Впрочем, кажется, она не из таких женщин, которыми тяготятся мужчины. Барбара понимала это, несмотря на свою неопытность. Миссис Ноэль никогда не даст ему почувствовать тягости своих цепей, ах, отчего они не могут продолжать жить так, как будто ничего не случилось? Неужели никто не в состоянии убедить Евстафия, что его отречение не нужно, что оно бессмысленно? И она невольно подумала о Куртье. Ведь, он знает их обоих и так расположен к миссис Ноэль. Не мог ли бы он поговорить с Мильтоуном и показать ему право человека быть счастливым и восставать против насилия?

Барбара присела к письменному столу и быстро написала несколько слов. Запечатав конверт, она надела шляпу и бегом спустилась с лестницы. Она хотела сама опустить письмо в почтовой ящик, как можно скорее.

Глава XXXVI

Леди Валлейс дожидается в белой комнате, — доложил Клифтон старой леди Кастерлей, сидевшей по обыкновению среди цветов и тепличных растений на огромной стеклянной террасе, в Равентэме.

Визит дочери пришелся как нельзя более кстати, хотя леди Кастерлей, вообще, никогда не тяготилась своим одиночеством. Она живо интересовалась политикой, переписывалась с разными выдающимися деятелями и с напряженным вниманием следила за избирательной кампанией. Но теперь, после выборов, наступило затишье. Прекратились агитация и газетная полемика, и затихли толки о войне. Леди Кастерлей почувствовала какую-то пустоту в своей жизни, которую надо было заполнить скорее. К тому же, она давно не имела известий о своем любимце Мильтоуне и в глубине души чувствовала себя оскорбленной, что ее оставляли в стороне. Она не знала какой оборот приняли события после болезни Мильтоуна и ухаживания за ним миссис Ноэль.

— Да, да, я, конечно, здорова, — сказала леди Кастерлей, окидывая несколько критическим взглядом свою дочь, так как многое в ее характере и обращении не нравилось ей. — Отчего ты не привезла с собой Барбару? — спросила она.

— Она очень устала.

— Устала? Гм! Она просто боится встречаться со мной после своего нелепого поступка относительно Евстафия. Ты должна бы смотреть за ней, Гертруда, не то она сделает какой-нибудь опрометчивый шаг. Мне не нравится ее обращение с Клодом Гарбинджером.

Но леди Валлейс прервала воркотню старухи словами:

— Я должна сообщить вам плохие вести об Евстафии.

Леди Кастерлей встрепенулась.

— Что случилось? Скажи мне все… — проговорила она в волнении.

Но, когда леди Валлейс закончила свой рассказ и взглянула па мать, то с тревогой заметила, что ее слова совсем сразили старушку. Она как-то съежилась, и вся ее маленькая фигурка казалась такой жалкой и беспомощной, что в душе дочери зашевелилась глубокая нежность и она ласково прошептала:

— Мама, дорогая!

— Да, — проговорила в задумчивости леди Кастерлей, — мальчик долго оберегал свои чувства. Теперь они вырвались наружу и все уносят с собой. Сначала его страсть, потом его совесть. В нем борются два человека, и один из них погибнет. Потом вдруг, повернувшись к дочери, она резко спросила:

— Ты знаешь, как он жил в Оксфорде, Гертруда? Ты знаешь, что он убегал оттуда и питался отрубями вместе с крестьянами? Нет, ты этого не знала? Впрочем, ты, вообще, ничего не знаешь о нем!

Чувство обиды шевельнулось в душе леди Валлейс. В самом деле, она так мало знала своего сына. Но, снова, посмотрев на жалкую, маленькую фигурку, сидевшую в кресле, она только со вздохом ответила:

— Что же делать?

— Поезжай домой, моя милая, — сказала леди Кастерлей. — Мне надо хорошенько обдумать это. Ты говоришь, он посоветуется с дядей Деннисом? А ты знаешь ее адрес? Нет? Так спроси Барбару, когда приедешь домой и протелефонируй мне.

Когда дочь нагнулась к ней, чтобы поцеловать ее на прощание, старуха угрюмо прибавила:

— Я проживу еще, хотя мне уже семьдесят во-

семь лет и увижу его твердо и неуклонно идущим к своей цели.

Куртье занимал две комнаты в семье одного ремесленника-социалиста. Когда он уезжал, эти комнаты оставались пустыми, сколько бы ни пробыл в отсутствии, и он всегда мог занять их снова, когда возвращался в Лондон. Хозяйка, молодая, тихая и кроткая женщина, вышедшая замуж за человека на двадцать лет старше ее, и имевшая от него двоих маленьких детей, делила свои заботы между ними и Куртье, который внушал ей самое глубокое уважение и восторг. Он был для нее путеводной звездой, средоточием всех лучших и возвышенных стремлений.

Когда она видела, что он собирается отправиться в одно из своих обычных странствований, то, спрятавшись куда-нибудь в уголок, чтобы никто не видел, она давала волю своим слезам. Но никогда в присутствии Куртье она не выказывала своего огорчения и спокойно прятала его вещи в свой шкаф, где они должны были дожидаться его возвращения. Никто бы не подумал, глядя на ее лицо, что она глубоко опечалена, так она привыкла скрывать свои чувства. И теперь, увидев, что он укладывается, она только спросила:

— Я надеюсь, что вы не уезжаете куда-нибудь в

опасные места, сэр? Мне всегда кажется, что вы отправляетесь туда, где есть опасность.

— Я еду в Персию, миссис Бентон, откуда привозят ковры, — отвечал Куртье.

— Прачка как раз сегодня принесла ваше белье, — проговорила миссис Бентон. Ее глаза были опущены, но она украдкой смотрела на Куртье, как будто хотела запечатлеть в своей памяти все мельчайшие подробности его костюма и его наружности.

— У вас нет вашей фотографической карточки, которую вы могли бы оставить нам? — вдруг спросила она. — Мой муж еще вчера говорил мне, что у нас ничего не остается на память о вас в случае, если вы не вернетесь к нам.

Куртье порылся и, отыскав свою старую фотографическую карточку, протянул ее миссис Бентон.

— О! — вскричала она. — Как вы тут похожи!

Ее пальцы слегка дрожали, когда она держала карточку, но Куртье, по-видимому, не замечал этого.

— Вот вам записка, сэр, — сказала она вдруг. — Посланный ждет ответа.

Она подала ему конверт, и, когда он разорвал его и быстро пробежал глазами записку, то мис-

сис Бентон с огорчением заметила, что кровь бросилась ему в голову и подумала, что он утомился, укладывая свои вещи.

В назначенный час Куртье был в кондитерской Гюстрада и, так как еще не наступило время для обычного чаепития, когда в этой кондитерской бывало много посетителей, то в ней было почти совсем пусто. Он увидел только трех пожилых дам, которые покупали пирожное. В отдаленном углу за столиком сидела Барбара. Она была очень бледна, когда он подошел к ней. Он сел возле нее и выслушал историю Мильтоуна, которую она рассказала ему. Ее близость волновала его, но он старался подавить это волнение и со вниманием слушал ее. В самом деле, он испытывал ощущение человека, у которого на шею наброшена веревка! Мог ли он сочувствовать страданиям другого человека в эту минуту?

— Я вижу, чего вы хотите от меня, — сказал Куртье. — Я должен пойти к вашему брату и процитировать ему Бернса. Но, ведь, вы знаете, что он считает меня опасным субъектом.

— Да, но он любит и уважает вас.

— И я люблю и уважаю его, — отвечал Куртье.

— Вы были всегда так добры ко мне, — прошептала Барбара.

Сердце Куртье сильно забилось. Он взволнованно проговорил:

— Все люди восторгаются далекой вечерней звездой... Я сейчас же отправлюсь к вашему брату.

— Где я могу сообщить вам о результатах моего разговора с ним?

— Завтра в пять часов я буду дома.

— Завтра в пять часов. — повторил он, вставая и прощаясь с ней. В дверях он оглянулся и ему по казалось, что она смотрит ему вслед печально и с упреком.

Глава XXXVII

Когда Мильтоун вышел из дома отца, то он пошел по дороге к Вестминстеру. В течение пяти дней, которые он провел в Лондоне, он ни разу не переступал порога палаты общин. Но теперь после затворничества, вызванного болезнью, он испытывал страстное желание окунуться в водоворот парламентской жизни. Городской шум и движение тоже привлекали его. Он прошелся по Трафальгарской площади, с восхищением поглядывая на каменных львов и на огромное здание Уайтхолла. Вообще, он чувствовал себя как человек, который после долгого морского путешествия увидел, наконец, землю и теперь стоит, затаив дыхание, и, напрягая зрение, старается уловить ее забытые очертания.

Он прошел на Вестминстерский мост и, остановившись посредине, облокотился на перила. Перед его глазами возвышались башни Вестминстерского дворца. Говорят, что тот, кто сидел хоть раз под сводами этого старинного здания, будет вечно тосковать по нему и влечение к этим высоким башням входит в кровь и плоть человека.

Мильтоун испытал это на себе.

Правда, он заседал в Вестминстерском дворце только в течение трех недель, но душа его была там уже очень давно. В течение сотен лет он сидел там со своими предками. И вот он уже больше никогда не войдет туда? Неужели это возможно?.. Безумное желание освободиться от этой петли вдруг овладело им. Неужели он должен покориться власти потому только, что сам хочет властвовать? Если хочешь управлять людьми, то прежде всего ты должен показать им пример уважения к авторитету. Но как тяжело это, как тяжело!

Мильтоун отвернулся от башен дворца и стал всматриваться в лица прохожих. Быть может, каждый из них переживал такую же душевную борьбу ради того, чтобы сохранить чувство самоуважения. Или же он бессознательно представляет вещи своему течению? Большинство производило именно такое впечатление, и врожденное презрение ко всем этим заурядным людям снова поднялось в его душе. Да, все они пойдут на компромисс, но странным образом именно это обстоятельство вызвало в нем протест и побудило его не идти на компромисс. Разве у этих людей есть гордость и воля? Они знают, что

жизнь слишком трудна для них, и с покорностью склоняют голову перед совершившимся фактом. Они, ведь так явно нуждаются в указаниях, куда они должны идти и что они должны делать, и внезапная мысль, что он теперь будет лишен права давать им эти указания, заставляла его дрожать от негодования. Глубокий и сильный протест, против такого насилия над своей волей поднимался в его душе.

Было около пяти часов, когда он, наконец, покинул свой наблюдательный пост на мосту и пошел по направлению к клубу, членом которого был его дядя Деннис. По дороге он зашел на телеграф, чтобы уведомить Одри Ноэль, что он будет у нее только завтра, после обеда.

Он медленно шел по улице, раздумывая о том, что он будет делать в будущем. Ему надо найти какое-нибудь дело, которое наполнило бы его жизнь. Писать книги? Но какие книги он может и хотел бы писать? Разумеется, такие, которые будут выражать его гражданские, политические и социальные верования. Но, ведь, это было бы то же самое, что сидеть там, в парламентских стенах и говорить! Разве он имеет на это право? Присоединиться к беспечной и счастливой группе писателей-художников он не может. Для

них преграды не имеют значения, они спокойно шагают через них. Ему нечего делать среди них. Конечно, он мог бы заняться адвокатурой. Но зачем? Чтобы стать судьей? Но тогда зачем же ему покидать парламентские стены? Не все ли равно? Для дипломатической карьеры слишком поздно, для военной тоже. К тому же, он не питал ни малейшего влечения к военной славе. Что же ему остается? Похоронить себя в деревне, подобно дяде Деннису и заняться управлением одного из отцовских поместий? Для него это было бы равносильно смерти. Заняться благотворительностью, пойти к беднякам? Но для чего? Чтобы научить их, как жить? Но, ведь, он сам, не умеет устроить своей собственной жизни! Он может быть для них только источником дохода, тогда как он убежден в том, что благотворительность портит нацию до основания.

И ему казалось в эту минуту, что он стоит на перепутье и везде видит ангела или демона с обнаженным мечом. Вдруг ему пришла в голову новая мысль. Государство и церковь отвергают его. Разве он не может перейти на другую сторону и присоединиться к разрушителям этих учреждения? И он мысленно увидел себя снова в парламенте, в рядах революционеров, радикалов,

свободомыслящих, бичующих его теперешнюю партию, партию власти, порядка и существующих учреждений. Но эта идея показалась ему до такой степени неправдоподобной и комичной, что он тут же на улице громко расхохотался.

Лорд Деннис посещал старомодный клуб в Сент-Джемс-Стрите, стоявший в стороне от всех новых течений и политического водоворота. Это была своего рода тихая пристань, где сходилось большинство сошедших со сцены людей и таких же спокойных наблюдателей, как лорд Деннис. Мильтоун нашел своего дядю в библиотеке за чашкой чая и чтением путешествий Бертона.

— Сюда никто не заходит, — сказал он племяннику, — поэтому можем сидеть здесь и разговаривать, не взирая на надпись на дверях. Принесите-ка еще чаю сюда, — обратился он к слуге.

Мильтоун не без некоторого нетерпения, смешанного с состраданием, смотрел на старого аристократа, который мягким движением руки отодвинул книги, чтобы очистить ему место возле себя на столе. Какую живописную фигуру представлял этот старик! Бедняга! Он всю жизнь был лишь посторонним зрителем, все проходило мимо него, и меч его заржавел в ножнах от

неупотребления.

Мысль о том, что ему надо сказать лорду Деннису, была особенно неприятна Мильтоуну. С какой радостью он избежал бы этого разговора! Но он дал слово и должен сдержать его. Тайное раздражение закипало в нем, и, чтобы избавиться от этого, он сразу заговорил:

— Я обещал матери обратиться к вам с одним вопросом, дядя Деннис. Я думаю, вы знаете о моей привязанности к миссис Ноэль.

Лорд Деннис кивнул головой.

— Я связал свою жизнь с ее жизнью. Никакого публичного скандала не будет. Но я считаю своим долгом отказаться от депутатского места и от общественной деятельности. Прав ли я, как вы думаете?

Старый лорд молча посмотрел на своего племянника казалось, он что-то вспоминал, наконец, он ответил:

— Ты не прав… мне кажется. Я не имею удовольствия знать эту даму, поэтому брожу тут отчасти в темноте… Но мне кажется, что твое решение не честно по отношению к ней.

— Не понимаю! — воскликнул Мильтоун.

— Ты обратился ко мне с откровенным вопросом и, конечно, ты ожидаешь, что я также

откровенно отвечу тебе? — твердо проговорил лорд Деннис.

— Разумеется, — ответил Мильтоун.

— Ну, так не сетуй же на меня за то, что мой ответ тебе не понравился голубчик… Ты говоришь, что твоя совесть заставляет тебя поступать таким образом? И я не стал бы критиковать твоего поступка, если бы все этим и кончилось. Но этим не кончится, Евстафий. Стремление к политической деятельности непременно у тебя возьмет вверх. Ты сильнее стремишься к власти, чем к любви. Твоя жертва убьет твою привязанность. То, что ты считаешь потерей и ущербом для нее…

Мильтоун усмехнулся.

Но лорд Деннис продолжал очень холодно и язвительно:

— Ты не слушаешь меня, но я уже прекрасно вижу, что процесс этот начался там, в глубине…в тебе есть любопытная примесь иезуитства, Евстафий. Чего ты не желаешь видеть, на то ты стараешься не смотреть.

— Вы, значит, советуете мне пойти на компромисс?

— Отнюдь нет. Я хочу только доказать тебе, что именно ты идешь на компромисс, стараясь примирить свою совесть со своей любовью. Ты

хочешь сохранить и то, и другое.

— Это интересно! — воскликнул Мильтоун.

— И ты не сохранишь ничего, — резко заметил лорд Деннис.

Мильтоун встал.

— Другими словами, вы, как и все остальные, советуете мне покинуть ту, которая любит меня и которую я люблю, — сказал Мильтоун. — А, между тем, дядя, говорят, что вы свое время…

Лорд Деннис тоже встал. Казалось в эту минуту к нему вернулась твердость и крепость прежних лет. Обычная мягкость, свойственная его манерам, исчезла, и он резко оборвал Мильтоуна:

— Обо мне говорить не будем. Я вовсе не советую тебе кого-нибудь покидать. Ты совершенно не понимаешь меня. Я только советую тебе хорошенько познать самого себя. И я высказываю тебе свое мнение. Природа тебя создала государственным деятелем, а не любовником. В твоей душе есть что-то закостенелое, Евстафий. Мне думается не так-ли обстоит дело со всеми людьми нашей касты. Нам слишком долго пришлось возиться с формами и церемониями, и поэтому мы перестали воспринимать лирическую сторону жизни.

— К сожалению, я не могу совершить низость, чтобы подтвердить вашу теорию, — возразил

Мильтоун.

Лорд Деннис прошелся еще раз по комнате. Брови у него были нахмурены и губы сжаты.

— Человек, дающий советы, всегда до некоторой степени разыгрывает роль дурака, — заговорил он после небольшой паузы. — Да еще, к тому же, ты не понял меня! Я вовсе не настолько самонадеянный человек и вовсе не утверждаю, что я проник в тайники твоей души. Я только высказываю тебе свое мнение, что было бы честнее с твоей стороны и по отношению к той женщине, которую ты любишь, если бы ты вступил в соглашение со своей совестью и сохранил и свою любовь, и свою общественную деятельность. Это гораздо лучше, чем притворяться способным принести в жертву ради слабейшей стороны то, что составляет наиболее сильную сторону твоей натуры. Помнишь изречение, кажется, Демокрита: «Натура и характер человека составляет для него судьбу или провидение». Рекомендую тебе помнить это.

Мильтоун молчал с минуту, затем проговорил:

— Я жалею, что побеспокоил вас, дядя Деннис. Компромиссная политика не по мне. Прощайте.

Они расстались, не пожав друг другу руки.

Когда Мильтоун вернулся в свою комнату,

кто-то встал с дивана и подошел к нему. Это был Куртье.

— Наконец то! — воскликнул он. Я искал вас везде. Мне хочется пообедать с вами. Завтра я покидаю Англию, а мне надо бы поговорить с вами.

— Уж не знает ли и он, — мелькнуло в голове Мильтоуна.

Он выразил согласие, и они вместе вышли из дома.

— Трудно найти теперь спокойное местечко, — заметил Куртье, — но, мне кажется, тут будет недурно.

Он указал на маленький ресторан, посещаемый участниками бегов и славящийся своими бифштексами. Во это время дня там было совершенно пусто.

Мильтоун и Куртье уселись за столик друг против друга.

— Он знает! — подумал Мильтоун, но решил ждать, пока Куртье не заговорит первый.

— Итак, вы решили отказаться от депутатского места, — сказал Куртье.

Мильтоун пристально посмотрел на него и затем вспыльчиво спросил:

— Кто разболтал вам об этом?

Но в лице Куртье он прочел столько дружеского

участия, что гнев его моментально испарился.

— Я ее единственный друг, — сказал Куртье серьезным тоном, — не говоря уже о моих чувствах к вам, которые, поверьте мне, носят очень сердечный характер.

— Ну, тогда продолжайте, — прошептал Мильтоун.

— Простите, что я спрошу это. Но приняли вы во внимание, каково было ее положение до встречи с вами?

Мильтоун почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, но он ничего не сказал и только, что есть силы, сжал свои руки.

— Да, да, — продолжал Куртье. Такой именно образ мыслей, вы сами придерживались его прежде, — обрекает женщину на существование, равносильное смерти, или же на духовный адюльтер. У меня кровь кипит, когда я думаю об этом. Вы не можете оспаривать, что именно таковы альтернативы, которые ставятся перед женщиной, и я говорю вам, что вы имеете право протестовать против них не только словами, но действиями. Я знаю, что вы протестовали, но ваше теперешнее решение, это — шаг назад, равносильный признанию, что ваш протест был ошибкой.

Мильтоун сразу поднялся с места.

— Я не могу обсуждать с вами этот вопрос, — сказал он твердо.

— Ради нее вы должны. Если вы откажетесь от своей политической деятельности, то вторично испортите ее жизнь.

Слово «должен» подействовало на Мильтона и глаза его загорелись стальным огнем. Он стал похож на своего предка, старого кардинала Карадока, портрет которого висел в замке.

— Мы слишком разные, Куртье, — медленно процедил он сквозь зубы, снова садясь на место. — Мы никогда не поймем друг друга.

— Не беда, — отвечал Куртье. — Признавая отвратительными обе эти альтернативы, стоящие перед женщиной, — с чем бы вы никогда не согласились, если бы не то, что вы лично столкнулись с таким фактом.

— Я отрицаю ваше право так говорить со мной! — прервал его Мильтоун.

— Во всяком случае, вы допускали эти альтернативы. Если же вы думаете, что вы не имеете права спасти ее, то скажите, на чем основываете вы это убеждение?

Мильтоун облокотился локтями на стол и вперил глаза в говорившего. В душе его буше-

вала буря, и от сильного волнения он едва мог говорить. Наконец, он прошептал дрожащими губами:

— По какому праву вы спрашиваете меня об этом?

Куртье густо покраснел, но он хорошо владел собой и в ответе его слышалась только холодная ирония.

— Пусть так! — сказал он. — Но я не могу сидеть спокойно последний вечер, который я провожу в Англии и смотреть, не пошевелив ни одним пальцем, как вы губите женщину, к которой я питаю чувства брата. Я скажу вам, каков ваш принцип! Вы требуете беспрекословного подчинения власти, какова бы ни была эта власть, справедливая или нет, желательная или нежелательная — все равно, раз это установленная власть! Нарушение закона, — чем бы оно ни было вызвано и ради кого бы ни было сделано, — является, в ваших глазах, нарушением повелений. Скажите, не стесняясь — божеских или уже установленных непреложной властью. Верно я определил ваш принципы?

— Да, — проговорил сквозь зубы Мильтоун. — Я думаю, что это так. Исключения только подтверждают правило. Закон считают плохим те, кому

трудно выполнять его. Куртье улыбнулся.

— Я знал, что вы это скажете, — возразил он. — Но и отрицаю, чтобы такой отсталый закон мог принести кому-нибудь пользу. Вы имели право спасти эту женщину.

— Нет, Куртье. Будем придерживаться голых фактов. Я никого не могу спасать. Я просто украл кусок хлеба, чтобы не умереть с голода. Поэтому я не могу служить образцом. Если об этом узнают, то я и одного часа не могу оставаться в парламенте. Я не могу извлекать для себя пользу из того, что это лишь случайно остается в тайне. А вы бы могли?

Куртье молчал. Мильтоун смотрел на него так, как будто хотел пронизать его взглядом.

— Я бы мог, — сказал, наконец, Куртье. — Если этот закон принуждает к духовной измене супругов, возненавидевших друг друга, то он тем самым нарушает святость брака, как раз именно то, ради чего придуманы эти постановления и что они призваны поддерживать. Вы должны поэтому ожидать, что закон этот будет всегда нарушаться мыслящими и независимыми мужчинами и женщинами, сохраняющими чувство собственного достоинства.

— Это неправильный взгляд, — возразил Миль-

тоун. — Я не допускаю, чтобы кто-нибудь мог быть судьей в своем собственном деле.

— Ага! Теперь как раз вы коснулись самой сути вопроса… Но здесь слишком жарко. Пойдем куда-нибудь!

Как только они очутились на улице и пошли по теневой стороне, с наслаждением ощущая прохладу, Куртье снова заговорил:

— Недоверие к человеческой природе, боязнь — вот основа людей вашего сорта. Вы отрицаете право индивида быть судьей в своем собственном деле, потому, что вы не верите, что основные свойства человеческой натуры могут быть хорошими. В глубине своего сердца, вы считаете их худыми. Вы не допускаете свободы индивида, не даете ему права выражать свое согласие, потому что вы уверены, что все его решения будут двигать его не вверх, а вниз. Вот в этом то и заключается разница между аристократическим и демократическим взглядом на вещи. Ведь, вы мне сказали однажды, что вы ненавидите и боитесь толпу.

— Да, — сказал Мильтоун, — я думаю, что возвышение толпы может происходить только помимо ее собственной воли.

— Хорошо. Но кто же ведет людей к совершен-

ствованию?

Мильтоун почувствовал, как им овладевает бешенство.

— Как это ни кажется вам странным, но все же их может вести к совершенству, — конечно, при посредстве избранных личностей, только то верховное существо, против которого вы так восстаете, — отвечал Мильтоун.

— Да, при посредстве церковнослужителей! — с усмешкой возразил Куртье. — Вон поглядите на эту девушку, которая там, на углу, украдкой высматривает нас. Вот если бы вы вместо того, чтобы пройти, брезгливо отворачиваясь, мимо нее, подошли к ней да заговорили бы с ней и постарались бы узнать, что она действительно думает и чувствует, то, пожалуй, вы бы раскрыли такие вещи, которые удивили бы вас самих. Уверяю вас, что в основе человечество прекрасно. И его поднимают ввысь заложенные в нем стремления. Эти стремления существуют внутри всех нас. Разве вы никогда не замечали, что общественное чувство, всегда бывает впереди закона?

— А вы, — заметил Мильтоун, — именно вы никогда не становитесь на сторону большинства.

Куртье коротко засмеялся.

— Жизнь не признает правил, висящих на стене

канцелярий, — сказал он. — Она идет своими путями. Однако, где же мы находимся?

Они невольно остановились у освещенного входа, возле которого толпился народ. Это был большой народный концертный зал, откуда доносились звуки и они узнали седьмую симфонию Бетховена.

— Не войти ли нам туда? — предложил Куртье. — Послушаем музыку и промочим немного горло.

Мильтоун кивнул головой, и они вошли.

Толпа, наполнявшая зал в благоговейном молчании слушала музыку.

— Вот он, народ, который, по вашему мнению, никогда не может знать, что хорошо для него, а что нет! — заметил иронически Куртье. — Profanum vulgus... Не правда ли, какое отвратительное зрелище?..

Но Мильтоун ничего не ответил.

Когда музыка закончилась, Куртье снова обратился к нему:

— Ну, что ж, разве это не указывает вам, как человек растет и возвышается, и как великолепен мир?

Мильтоун улыбнулся.

— Это указало мне только, как может быть

великолепен мир, созданный великим человеком, — отвечал он. И вдруг в его душе словно прорвалась какая то внутренняя, задерживающая плотина, и слова полились потоком, горячие и убедительные.

— Взгляните на эту толпу, Куртье, которая двигается по улице! Из всех сборищ людей на свете, эта толпа скорее других может быть предоставлена самой себе. Она обеспечена от всяких катастроф и находится в центре одного из величайших и безопаснейших городов на свете.

А теперь взгляните на фигуру этого полисмена. Он олицетворяет собой ту центральную силу, которая держит эту толпу в известных границах, как бы ни была она свободна и надежна в некотором отношении. Такая центральная сила всегда должна существовать. Откуда же она исходит? Вы скажете, что из толпы. А я отвечу: нет! Обратитесь к истории возникновения государства. С самого начала лучшие люди были бессознательными посредниками власти, сдерживающего принципа и божественной силы. Такой человек ощущает в себе силу, сначала только физическую, и пользуется ею чтобы управлять другими, а затем, привыкнув руководить, он уже удерживает власть в своих руках.

Вся ваша процедура выборов, весь ваш так называемый демократический аппарат — не более как подачка, брошенная голодному, преграда для пытливого ума, восхваление гордости бунтовщиков. Но это поверхностный взгляд, так как эти лучшие люди стоят ближе к божественному первые воспринимают веление свыше… Я вовсе не имею тут ввиду наследственность. Лучшие люди не должны непременно родиться в моем классе, и я вовсе не думаю, что они чаще встречаются среди нас, нежели среди других классов.

Он прервал свою речь так же внезапно, как и начал ее.

Куртье отвечал ему:

— Я вовсе не причисляю вас к заурядным образцам человеческой породы. Но мы с вами находимся на разных полюсах, и, вероятно, мы оба очень далеки от совершенства. Однако, мир управляется не только силой и страхом, который внушает сила. Мир управляется также любовью. Общество держится взаимными отношениями людей. Демократический принцип, который вы так презираете, в сущности, только и основывается на этом чувстве. Человек бессознательно чувствует, как он должен поступать, чтобы не потерять самоуважение. Законы и власть далеко

не составляют начало и конец всего. Они служат только приспособлением, механизмом и играют такую же роль, как леса при постройке здания. Без этих лесов не может быть построено здание. Да, но их не следует отожествлять с самим зданием. Ведь, их надо убирать прочь, чтобы освободить от них здание, построенное на земле, а не на небе. Эти леса должны только сохранять постройку, пока она не готова, чтобы она не потеряла своей формы.

— Нет, сто раз нет! — воскликнул Мильтоун. — Храм не может быть выстроен без этих лесов. А его божественный архитектор выбирает для этой работы людей, наиболее приближающихся к нему по духу и уму.

— Вы коснулись главного пункта, — вскричал Куртье. — Ваш бог находится вне мира, а мой находится в нем.

— И они никогда не сойдутся! — вставил Мильтоун.

— Вы, как я понимаю, не может взирать на своего бога иначе, как стоя на каком-нибудь возвышенном месте. Разве вы не чувствуете себя там немного одиноким?

Мильтоун ничего не ответил, но, когда они вышли на улицу, то он вдруг сказал с жаром:

— Вы говорите о тирании. Какая же тирания может сравниться с тиранией свободы? Какая тирания в мире может сравниться с тиранией этой свободной, пошлой и узкой улицы с ее сотнями газет, которые располагаются, точно муравьиные гнезда, чтобы произвести на свет…. что? В недрах этой вашей свободы, Куртье, нет места ни для вдохновения, ни для дисциплины, ни для самоотвержения. Там есть место только для торга и для своеволия.

Несколько минут Куртье ничего не отвечал ему, затем, когда они завернули за угол и пошли вдоль реки, он сказал:

— Нет. Каковы бы ни были недостатки этой улицы, но здесь дует свежий ветер и есть возможности для всего. Честное слово, я предпочитаю звезды на совершенно темном небе вашему, великолепному искусственному освещению.

Мильтоун вздрогнул. Ему показалось, что отзвук этих слов будет вечно раздаваться в его ушах. Он никогда не освободится от этого, не стоит и пробовать!

Они шли молча некоторое время, точно прислушиваясь к собственными мыслям.

С реки доносился мерный всплеск весел. Наконец Мильтоун снова заговорил:

— Мне кажется, вы думаете, что политическая жизнь мне нужна, как воздух и я должен умереть, потому что отказываюсь от нее?

Куртье кивнул головой.

— Прав ли я, думая, что это моя младшая сестра послала вас ко мне?

Куртье ничего не ответил.

— Значит, завтра последний день для нас обоих, — продолжал Мильтоун, глядя на него в упор. — Вы тоже уходите. И вы правы, поступая так. Она не может жить вне своей социальной сферы. Итак, прощайте. Чтобы ни случилось потом, я всегда буду помнить этот вечер.

Улыбаясь, он протянул ему руку и прибавил:

— Moriturus te saluto.

Глава XXXVIII

Расставшись с Мильтоуном, Куртье еще раз прошелся по Гайд-парку. Он думал о Мильтоуне и миссис Ноэль. Какая странная судьба свела их обоих? К чему приведет их любовь? Семена недовольства и печали уже посеяны в их сердцах; что принесут они им обоим? Куртье вспомнил Одри, когда она была маленькой девочкой, с такими вдумчивыми и нежными глазами. Это кроткое существо скорее готово умереть нежели причинить боль кому бы то ни было. И ей то судьба послала такого странного возлюбленного, аристократа по рождению и по природе, с пламенной, но иссушенной душой, вскормленного и воспитанного в повиновении власти и для служения ей, отвергающего единства жизни и поклоняющегося древнему богу. Как странно, что еще существуют такие люди! Однако, в этом человеке есть курьезное сочетание того, что философы назвали бы воля к любви и воля к власти.

Пожелтевший лист сорвался с ветки над его головой и, кружась в воздухе, упал на дорогу. Куртье следил за ним задумчивым взором. Какая-то

странная апатия овладела всем его существом. Между тем, мысль его невольно возвращалась к прошедшим неделям, когда он действительно ходил по пятам за Барбарой. Но завтра все это уже исчезнет, она перестанет существовать для него, как будто он никогда и не видел ее в жизни.

Была ли это покорность судьбе с его стороны? Нет, он просто не мог быть защитником собственного дела. Будь это дело другого человека, с какой горячностью он вступился бы за него! Каким потоком полились бы все те слова, которые просились у него на уста с той самой минуты, как он увидел ее! Но ему казалось смешным и недостойным говорить эти слова ради самого себя. Да, ради другого человека он мог бы броситься и унести ее из-под жерла вражеских пушек! Но для себя он этого не сделает.

Он сидел на скамье, тупо глядя на падающие листья, апатичный и мрачный, в состоянии, близком к отчаянию. И все же его мысль работала в одном и том же направлении и рисовала ему картины, бесконечно волновавшие его. Один раз даже невольная улыбка промелькнула у него на губах, и он чуть не заскрежетал зубами.

Вдруг он услышал шаги. На противоположной стороне, по аллее, за высокими кустами, шли

мужчина и женщина, направляясь к выходу из парка. Эта была какая-то молодая пара. Оба высокие стройные, они шли с гордой, надменной осанкой, иногда поворачивая головы друг к другу, вероятно, чтобы обменяться словами или улыбкой. По их костюму и манерам сразу можно было догадаться, что они принадлежали к высшему обществу.

Но на таком расстоянии Куртье не мог слышать их разговора. Он видел их только сзади, потому что они удалялись от него. Когда же солнечный луч, пробравшись сквозь листву, словно ласкаясь, прикоснулся к стану молодой женщины, то Куртье сразу догадался, что это была за пара.

Барбара, это была она, не подозревала, какие жадные взоры следили за ней. Беспечно смеясь, она взяла Гарбинджера под руку и вышла с ним из парка. Куртье видел все это. Он горько усмехнулся и подумал о том, как он был прав, удерживая слова любви, готовые сорваться с его уст, когда он сидел в кафе с Барбарой! Он встал и решительным шагом направился домой.

Когда он оставил Барбару одну, чтобы пойти к Мильтоуну, то она еще несколько минут просидела за столиком, уставив глаза на пустую чашку и блюдечко с пирожным. Ей нужно было

время, чтобы совладать со своим огорчением и разочарованием, и она готова была заплакать, как ребенок, у которого отняли поправившуюся ему игрушку. В действительности она не могла разобраться в своих чувствах, но в глубине сердца она все же ощущала какую-то рану, которая давала о себе знать тупым ноющим чувством.

Придя домой, она застала в гостиной свою сестру Агату и тотчас же заметила, что она была чем-то сильно расстроена.

Действительно с Агатой произошло следующее. Она пошла прогуляться с маленькой Энн и зашла в кондитерскую, чтобы купить каких-то сластей, которые считала полезными для своих детей. Пока ей заворачивали пакеты, она вдруг заметила, что Энн, поднявшись на цыпочки, смотрит пристально в дверь, выходящую в комнату, где сидели посетители. Она тоже посмотрела туда и к своему ужасу увидела за одним из столиков сестру и Куртье. Сунув поскорее Энн в рот какую-то конфету и велев продавщице прислать пакет на дом, Агата торопливо вышла из кондитерской, таща Энн за руку. Она была совершенно ошеломлена такой неожиданностью, а дома ее ждало новое неприятное известие — о любовных делах брата! Она чувствовала сильнейшее негодова-

ние, какое только может испытывать женщина, когда она видит попранными все свои семейные идеалы.

Барбара весело поздоровалась с ней, но Агата вместо всякого приветствия холодно заметила:

— Мне кажется, ты сошла с ума. С какой стати ты привезла миссис Ноэль к Евстафию?

— Женщина имеет право быть немного сумасшедшей, — насмешливо возразила Барбара.

Агата несколько мгновений молча смотрела на нее, затем проговорила:

Я тебя не понимаю. Ты, ведь, далеко, не глупа.

— Только хитра, — перебила ее Барбара.

— Ты считаешь возможным смеяться над тем, что погубило жизнь Мильтоуна. Я так не могу.

Глаза Барбары сверкнули гневом.

— Не забывай, что мир не ограничивается твоей детской, Агата, — сказала она.

— Очень жаль, — возразила Агата и, поджав губы, прибавила с ударением:

— Я только что видела тебя в кондитерской Гюстарда.

Барбара посмотрела на нее и громко расхохоталась.

— Понимаю, — воскликнула она. — Какая чудовищная безнравственность, не правда ли?

И, продолжая смеяться все тем же задорным смехом, она повернулась на каблуках и выбежала из комнаты.

За обедом и вечером Барбара была необыкновенно молчалива. Лицо ее сохраняло странное, напряженное выражение, какое у нее бывало всегда, когда она наталкивалась на какое-нибудь препятствие или затруднение, с которым ей надо было справиться. Оставшись одна в своей комнате, она несколько времени ходила взад и вперед, чувствуя страстную потребность движения или какого-нибудь действия, которое бы причинило боль ей самой или кому-нибудь другому. Ей надо было дать выход, во что бы то ни стало, кипевшему в ее душе раздражению. Лечь спать в таком состоянии было немыслимо. Она знала, что не заснет и будет метаться в постели, как в лихорадке. Лучше уж не ложиться совсем!

На мгновение у нее мелькнула мысль, что хорошо было бы уйти из дому. Это было бы превесело, потому что, наверное, все бы пришли в ужас от такой выходки. Да, от этого ей бы полегчало, но только выполнить такое намерение было трудно. Ее бы увидели раньше, чего она вовсе не желала, и она бы только подверглась ненужному унижению. Вдруг она вспомнила о

крыше маленькой башни, на которую она один раз влезла, когда была маленькой девочкой. Не повторить ли этот опыт теперь? Она нарочно оставила дверь своей комнаты открытой и со злорадным удовольствием думала, как напугается горничная ее исчезновением и напугает других. Какой это вызовет переполох в доме! Барбара надела мягкие туфли и неслышными шагами прошла через картинную галерею на площадку. Там, возле двери, ведущей в приватный кабинет ее отца, — его — святая святых, — находилась узкая каменная лестница, которая вела на верх башни и оттуда на крышу.

С трудом переводя дух, Барбара взобралась наверх по лестнице, которая показалась ей бесконечной. Наконец, она была у цели. Когда она взглянула вниз с маленького балкона, держась за железные перила, то почувствовала легкое головокружение. Первое время она еще находилась во власти разнородных чувств, бушевавших в ее душе, но постепенно все затихло, и она стояла, как очарованная, перед грандиозной картиной, открывшейся ее взору. Вот он, этот город, по которому она проходила днем, не замечая его красоты! Как хорош он теперь, в своем величавом ночном спокойствии, объятый таинственной

дремотой!.. Барбара смотрела на него, не открывая глаз, точно в первый раз видела его, и разные странные мысли бродили в ее голове.

Только, когда поднявшийся свежий ветерок, чувствительный на такой высоте, заставил ее вздрогнуть, Барбара, словно очнувшись от сна, осмотрелась кругом. Зачем она здесь находится? Все это ночное приключение показалось ей теперь смешным и нелепым. Лишь бы ее никто не заметил. Она быстро сбежала по лестнице и, когда была уже в дверях картинной галереи, то внезапно услышала за собой чей-то изумленный голос:

— Это ты, Баб?

Барбара оглянулась и увидела свою мать. Ее обычное хладнокровие сразу вернулось к ней. Леди Валлейс нерешительно позвала ее. Лорд Валлейс тоже находился в комнате, где он любил проводить часы отдыха. Он стоял, облокотившись на каминную доску, и лицо его выражало досаду и непривычную суровость, точно ему предстояло какое-нибудь неприятное объяснение.

Сомнения Агаты, не знавшей, как поступить, сказать ли отцу или нет о встрече в кондитерской, были сразу разрешены маленькой Энн. Девочка явилась вечером в гостиную и восклик-

нула во время наступившей паузы среди общего разговора:

— А знаешь, дедушка, мы видели сегодня тетю Баб и мистера Куртье в кофейной Гюстарда! Только мы с ними не разговаривали.

Взволнованная всеми событиями этого дня, леди Валлейс потеряла свое светское самообладание. В другое время она далеко не так трагически отнеслась бы к тому, что Баб зашла в кафе с мистером Куртье. В этот час дня кондитерская мало посещалась, и вряд ли кто-нибудь видел Барбару, кроме ее сестры. Да и кондитерская Гюстарда имела скромную репутацию и славилась только своими свадебными пирогами. Следовательно, беды большой тут не было, но, встревоженная уже предшествовавшим разговором с сыном, леди Валлейс и тут увидела зловещий признак.

А лорд Валлейс, так искренне восхищавшийся своей младшей дочерью и видевший в ней образец высшей породы, был не на шутку огорчен этим известием. Неужели опасность, в самом деле, так велика? Не может этого быть? Леди Валлейс, хотя и была встревожена, но все же успокаивала себя мыслью, что этой простой флирт — не больше.

Она вспоминала себя в молодые годы.

Барбара спокойно подошла к письменному столу и облокотилась на него, ожидая, чтобы отец первый заговорил с ней.

Гнев и досада, которые чувствовал лорд Валлейс внезапно испарились, как только он увидел Барбару. Ее хладнокровие и спокойствие невольно действовали на него. Он окинул ее взглядом и спросил:

— Ты выходила, Баб?

Не выдавая ни одним звуком своего волнения, Баба отвечала холодно небрежным тоном:

— Нет. Я была только на крыше башни.

— Любовалась звездами? — сказал лорд Валлейс, глядя на нее в упор, и затем, точно приняв внезапное решение, прибавил: — Разве ты не знаешь, что неблагоразумно назначать свидания в кондитерских, когда маленькая Энн находится в Лондоне?

Глаза девушки засверкали гневом, а губы искривила злобная усмешка, но, прежде чем она успела что-нибудь сказать, Леди Валлейс торопливо заметила:

— Конечно, моя милая, у тебя были свои причины.

Но Лорд Валлейс не выдержал и оборвал ее восклицанием:

— Каковы бы они не были, она должна объяснить!

— Нет, ответила Барбара.

В другое время ни отец, ни мать не стали бы приставать к ней с расспросами, зная, что, когда она находится в таком настроении, то от нее ничего не добьешься. Лучше оставить ее в покое. Но предшествовавшая сцена с Мильтоуном до такой степени взволновала их, что они оба не владели собой в достаточной степени.

— А! — вскричал лорд Валлейс — я вижу. Объяснений надо спрашивать у этого джентльмена, который настолько потерял понимание вещей, что мог предложить тебе…

— Он ничего не предлагал мне. Это я вызвала его, — холодно возразила Барбара.

— Неужели? — спросил лорд Валлейс, нахмурив брови.

Леди Валлейс испугалась.

— Джоффрей, оставь! — вмешалась она. — Я поговорю с ней.

— Ты должна была раньше говорить с ней.

В первый раз в жизни отец говорил таким тоном. Никогда до сих пор он не делал ей выговора! Барбара была возмущена до глубины души. Она с трудом подавила свои чувства и проговорила

холодно, вызывающим тоном:

— Что еще?

— Как дополнение к твоему участию в деле Мильтоуна, этого достаточно, — сказал он дрожащим от сдержанного гнева голосом.

— Баб все расскажет мне, дорогой мой, — снова вмешалась леди Валлейс.

— Оставь ее. Наверное, тут нет ничего серьезного.

Но Баб спокойно и холодно повторила:

— Что же еще?

— Ничего, — резко ответил отец. — С тобой мне больше не о чем говорить. Я буду иметь честь высказать этому джентльмену, что я думаю о нем.

Барбара гордо выпрямилась и смерила холодным, уничтожающим взглядом обоих, мать и отца. Это длилось только одну секунду, но оба почувствовали неловкость и невольно отвернулись, чтобы не встречаться с ней глазами.

— Если вам больше нечего сказать мне, то я пойду спать. Прощайте, — сказала Барбара и спокойным, неторопливым шагом вышла из комнаты, хотя сердце ее билось так, что готово было выскочить, и она мысленно повторяла: «Хорошо! Хорошо».

Она чувствовала себя странно оскорбленной

и долго не могла успокоиться, а когда, наконец, она уснула, то ей приснился не тот, о ком она все время думала, а Гарбинджер. Она проснулась с сильно бьющимся сердцем и с твердым решением держать себя так, как будто ничего не случилось. «Они будут обмануты, и тогда!»

Что будет тогда, она сама хорошенько не знала, но у нее было такое чувство, будто ее ждет что-то особенное. Под влиянием такого настроения она с невозмутимым спокойствием спустилась к завтраку, поздоровалась с домашними и даже приняла участие в общем разговоре.

Потом она поехала кататься с Энн и, вернувшись, отправилась с матерью, которой нужно было сделать кое-какие покупки. Но она искусно отклоняла всякую попытку матери завести разговор о встрече, происшедшей в кондитерской Гюстарда. Леди Валлейс так ничего и не добилась от нее. Не хотела она также говорить и о своем брате. Но во всех других отношениях она оставалась прежней Барбарой и даже согласилась сопровождать леди Валлейс к старой леди Гарбинджер. Она знала, что встретит там Клода Гарбинджера и испытывала какое-то особое, почти циническое удовольствие при мысли, что после этого визита, в пять часов, она снова

увидится с Куртье. Поэтому она была весела и особенно мила с Гарбинджером.

Беспокойное, мятущееся состояние ее души как-то сразу прекратилось, и она внезапно почувствовала себя счастливой и доброй. Она выразила желание идти домой пешком и позволила Гарбинджеру проводить себя. И он сразу стал веселым и радостным. Дорогой она раза два ласково притронулась к его рукаву, чтобы обратить его внимание на деревья, на птиц. Он был счастлив, что идет рядом с ней, что прекратилось ее дурное настроение и она перестала его мучить… Но, когда она рассталась с ним у дверей дома, то по губам ее скользнула странная, почти робкая улыбка, точно она просила у него прощения за что-то. Час приближался, она это чувствовала.

Она села в маленькой прихожей, обшитой белыми панелями. Сюда редко кто заходил, но из окна был виден двор и подъезд. Она рассчитывала, что увидит Куртье издали, когда он будет подходить к дому, и как будто случайно встретится с ним в передней. Она была взволнована и сердилась на себя за это.

Пробило пять часов, но Куртье не было видно.

Барбара не ожидала, что он будет так неаккуратен, и ей было досадно и неловко, что она сидит

тут и ждет его. Подойдя к окну, она взглянула в него.

— Тетя Баб! — вдруг раздался позади нее звонкий, детский голосок.

Барбара обернулась. Это была маленькая Энн, всюду поспевающая со своим крошечным, задорным носиком. Девочка осматривала комнату широко раскрытыми, любопытными глазами:

— Я не знала, что ты здесь. Какая хорошенькая комната! Я тут еще ни разу не была, — вскричала Энн.

Барбара вздрогнула от неожиданности; она погладила девочку по головке и спросила:

— Тебе нравится эта комната?

Но Энн уже забыла от этом и, взглянув в окошко, торопливо шепнула:

— Кто-то идет сюда…. Я должна уходить скорее.

Кровь прилила к щекам Барбары и сердце забилось сильнее. Она невольно подняла руки к лицу и поспешила вслед за своей племянницей в переднюю. Но уже в дверях ее встретил лакей Вилльям и подал ей письмо. Барбара тотчас же догадалась, что оно было от Куртье.

С сильно бьющимся сердцем от волнения и какого-то горького чувства разочарования Барбара

разорвала конверт и прочла:

«Дорогая леди Барбара. Мне грустно признаваться Вам, что мое свидание с вашим братом было совершенно бесполезным. Я сидел в парке и случайно видел, как вы прошли мимо, и мне хочется теперь пожелать вам много счастья, прежде чем я уеду отсюда. Видеть вас было большой радостью для меня, и мысль о вас поможет мне верить в то, что жизнь хороша. Если когда-нибудь на меня нападет уныние, и все представится мне в мрачном свете, я вспомню вас, вспомню о том, что вы существуете и снова солнечный свет озарит для меня все. Я преклоняюсь перед красотой и радостью жизни и благодарю судьбу за то, что мне довелось узнать вас и говорить с вами. Итак, прощайте. Ваш покорный слуга Чарльз Куртье».

Щеки Барбары горели, руки дрожали. Она несколько раз перечитывала письмо, но глаза ее заволакивали слезы и под конец она уже не разбирала букв. Если бы в этом письме было хоть слово жалобы или сожаления!.. Разве она может отпустить его так, не простившись с ним без всяких объяснений? Он не должен думать о ней, как о пустой, холодной кокетке, забавляющейся с ним в течение нескольких недель. Она объяснит ему. Что она объяснит ему? В голове

у нее был хаос. «Что же это такое. Что же мне делать», — шептала она дрожащими губами. Поспешно одевшись, она вышла из дому и прямо через площадь Пикадилли, направилась к парку.

На аллее она увидела Лили Мальвезен со своим приятелем и слегка кивнула им головой, когда они проходили мимо. Вид этой парочки больно удавил ее сердце. Она страстно желала увидеть Куртье, оправдаться в его глазах. Он не должен думать, что она Барбара Карадок пошлая кокетка, бездушная светская девушка. И он не написал ей ни слова упрека.

Она замедлила шаги, приближаясь к его дому, стараясь обдумать, что ей надо сделать теперь, и предугадать, как он поступит. Но отступать она не хотела. Будь, что будет. Стиснув зубы, она решительно позвонила у дверей. И вдруг ее охватил страх. Но было уже поздно. Какая-то женщина в синем переднике, еще молодая, стояла перед ней. Барбара заметила, что ее глаза были красными от слез.

— Здесь живет мистер Куртье? — спросила Барбара.

— Да, но, к сожалению, он уже уехал, — отвечала женщина.

Большая, старая собака подошла к Барбаре и

стала тереться у ее ног, Барбара нагнулась к ней, чтобы приласкать ее и скрыть свое замешательство.

— И, к сожалению, я не могу вам дать его адреса, потому что он уехал в чужие края, — прибавила женщина.

Барбара поспешно вышла на улицу, освещенную солнцем. Она не могла бы определить чувства, охватившего ее в эту минуту, но она испытывала страстное желание и плакать, и смеяться в одно и то же время….

Глава XXXIX

Погода испортилась и пасмурное небо явственно указывало на приближающуюся осень. Миссис Ноэль с тоскливым чувством смотрела из окна на гонимые ветром свинцовые облака, Она как будто предчувствовала, что для нее кончились светлые дни, наступает хмурая, печальная осень.

Они расстались два дня тому назад, но его поцелуи ни могли прогнать тяжелого чувства, которое овладело ею, когда он сообщил ей о своем решении. Она заглянула глубже, чем он, и ее инстинкт подсказал ей конец. Быть его тормозом, препятствием, которое мешает ему двигаться, идти по избранной дороге, быть не товарищем его на этом пути, а лишь помехой, не быть для него солнцем, вдохновляющим его, а облаком, заслоняющим от него свет! Эта мысль убивала ее. Она не понимала, не разделяла его сомнений, но жалела его и чувствовала, что это погубит его любовь. Он будет тяготиться ею. Если теперь он отказывается от общественной деятельности вследствие своей чрезмерной добросовестности, то он способен продолжать совместную жизнь

с ней, даже тогда, когда перестанет любить ее. Ведь, он будет считать себя неразрывно связанным с нею! Эта мысль приводила ее в содрогание. Неужели жизнь будет так жестока, что, дав ей испытать величайшее счастье, тотчас же отнимет его. Нет, этого не может быть.

День склонялся к вечеру, но солнце не показывалось. Тоскливые сумерки еще увеличивали душевный гнет. Миссис Ноэль пробовала заняться чтением, музыкой, но она делала это механически. Мысли ее были далеко. Неужели она не сумеет внушить ему любовь к тем вещам, которые она любит сама? Неужели она не сможет наполнить его жизнь?

Звонок, раздавшийся у входной двери, заставил ее вздрогнуть. Ведь, он предупредил ее утром телеграммой, что приедет только вечером. И она решила скрыть от него свои сомнения, свою боязнь. С его приходом, ведь, рассеется мрак, окружающий ее, его поцелуи успокоят ее смятенную душу. Она ждала. Вошла леди Кастерлей. Кровь застучала в висках миссис Ноэль, когда она увидела маленькую старушку. Дрожащими руками она придвинула ей кресло и ждала, пока она заговорит.

— Моего внука нет здесь? — спросила она и, по-

лучив утвердительный ответ, заговорила тихим, но решительным голосом:

— Мы слышали о его решении. Я буду говорить с вами прямо. Для меня это большое горе, а для него большое несчастье. Он мой любимец с самого дня рождения, и я была настолько безумна, что мечтала для него о великой будущности. Быть может, вы не знали, какие надежды мы возлагали на него? Поэтому вы должны простить старухе, что она так бесцеремонно является к вам. В мои годы уже немногим дорожат в жизни, но этим немногим дорожат очень сильно.

Миссис Ноэль подумала: «А в мои годы только одно имеется значение, и лишение этого равносильно смерти». Но она не сказала ни слова. Да и зачем было говорить! Разве эта суровая старуха, олицетворяющая светскую мораль, поймет ее?

— Вам я могу сказать то, чего я ни за что не могла бы сказать другим, — продолжала леди Кастерлей. — В вас нет жестокосердия, которое есть в других.

Да, она действительно не была жестокосердна. Ей было жаль даже эту старуху, которая сидела в кресле, такая маленькая, худенькая, точно восковая и, видимо, сильно взволнованная.

— Для Евстафия его политическая карьера со-

ставляет все в жизни, — снова заговорила леди Кастерлей после минутного молчания. — Он слился воедино с этой карьерой. Он должен действовать, управлять, тратить свои силы. То, что он дает вам, это — не настоящая его сущность. Я не хочу огорчать вас, но истина прежде всего. Мы все должны преклоняться перед нею. Может быть, я слишком сурова, но я умею уважать чужое горе.

«Уважать горе! Да, но разве эта старуха может понять ее горе, горе молодого сердца?» Молодой женщине казалось, что она, эта седая, маленькая старуха, когтями впилась в ее сердце. Ей хотелось крикнуть от боли, но она не издала ни звука и, взглянув на тонкое, словно выточенное из слоновой кости лицо старухи, почувствовала, что в ее душе нет ни злобы, ни негодования на нее, а только одно невыразимое, глубокое страдание.

— Еще не поздно, — говорила леди Кастерлей глухим, дрожащим голосом. — Если вы не порвете этого сразу, теперь же, то потом вам будет еще тяжелее. Вы знаете, что он не меняет своих решений. Если вы отнимите у него возможность делать то дело, к которому он стремился всю жизнь, то это отразится и на вас. Конечно, вы можете меня ненавидеть за то, что я говорю вам

это. Но поверьте мне, что это для вашего же добра, так же, как и для него в конечном счете.

Кровь прилила к сердцу Одри, и оно забилось так сильно, что у нее потемнело в глазах. Словно свинцовая тяжесть опустилась ей на грудь и не давала ей вздохнуть. Слова, которая она не решалась выговорить даже самой себе, были теперь произнесены леди Кастерлей и в них заключалось то, что мучило ее с первого момента ее любви к Мильтоуну. Да, она всегда знала, что так будет, но боялась признаться себе в этом! Старуха только глубже разбередила рану ее сердца, раскрыла перед ее глазами пропасть. Это было больше, чем она могла вынести.

Одри встала и произнесла дрожащим голосом:

— Пожалуйста теперь оставьте меня. Мне надо еще многое сделать прежде чем я уеду.

Она взглянула на изумленную старуху с особенным злорадством. Леди Кастерлей, растерявшаяся от такой неожиданности, улыбнулась:

— Как? Вы уедете? Уедете, не повидавшись с ним?

Миссис Ноэль с удовольствием заметила, что гордая леди не знала, как ей поступить, должна ли она поблагодарить молодую женщину, которая пошла навстречу ее желаниям, или же уйти,

ни слова не говоря. Однако, после минутного колебания леди Кастерлей прошептала: «Благодарю вас, моя дорогая» и, с трудом поднявшись с кресла, направилась к двери.

Миссис Ноэль ничего не ответила. Она точно окаменела. Самое ужасное было то, что могла плакать, не могла облегчить свое горе слезами. Она знала только одно, что должна уехать, уехать сейчас же, как можно скорее. Это должно быть сделано теперь же, иначе, она знала, у нее не хватит сил выполнить это решение. Она наскоро уложила вещи и послала горничную за извозчиком. Надо было написать ему письмо, но написать так, чтобы он не слишком взволновался. Ведь, он еще так недавно оправился от тяжелой болезни! Ах, как трудно было писать спокойные, рассудительные слова! Но он не должен был ничего подозревать, а только спокойно ждать пока время не сделает свое дело, и больше он никогда к ней не вернется.

Она передала письмо горничной, и села в экипаж, который уже ждал ее у подъезда. Только в поезде, сидя одна в купе, она, наконец, дала волю слезам. Да, она знала, что теперь все кончено! У нее не оставалось больше никаких иллюзий. Она не хотела быть препятствием на его пути. Теперь

он свободен и пойдет своей дорогой. А она? Она унесет с собой воспоминание о светлых минутах своей жизни. Правда, ее счастье продолжалось только миг, но за этот краткий мне она готова была заплатить ценой остальной жизни.

Глава XL

Барбара, только что вернувшаяся домой после своего визита в опустевшую квартиру Куртье, хотела пройти прямо в свою комнату, но ее остановил посланный леди Кастерлей. Бабушка просила ее немедленно приехать в Равентэм.

Старушка по обыкновению сидела в белой гостиной и с ней был лорд Деннис, когда приехала Барбара.

Поздоровавшись с ней, леди Кастерлей сурово спросила ее.

— Ты понимаешь теперь, что ты наделала?

Лорд Деннис хотел что-то сказать, но леди Кастерлей остановила брата восклицанием:

— Пожалуйста, не заступайся за нее! Я знаю, что она твоя любимица, но все равно, она должна знать, что поступила дурно. К величайшей чести этой женщины, говорю это прямо, она уехала, уехала совсем! Она сделала это так, что Евстафий не найдет ее при всем своем желании.

— Бедная! — воскликнула Барбара.

Лицо леди Кастерлей приняло суровое выражение:

— Да, — сказала она. — Это урок для тебя, чтобы и ты не играла с огнем.

Лорд Деннис умоляющим взором посмотрел на старуху и обнял Барбару, точно желая защитить ее:

— Жизнь считается с фактами, а не с романтическими фантазиями, — продолжала леди Кастерлей. Ты причинила много зла, больше, чем можно исправить. Я сама ездила к ней. Я была очень растрогана. Если бы не твое безумное поведение.

Леди Кастерлей остановилась. Барбара, смотря на нее сверкающими глазами, медленно проговорила:

— Что же еще ты желала бы уничтожить, дорогая бабушка? Твое счастье, что ты говоришь мне эти обидные вещи сегодня! Если бы это было вчера.

Загадочный смысл этих слов не ускользнул от леди Кастерлей. Она вздрогнула и сказала:

— Если бы не твоя сентиментальная глупость, то с Евстафием этого бы не случилось.

Лорд Деннис обнял Барбару и притянул ее к себе, чтобы помешать ей ответить.

— Этот человек… как его имя?.. Отделалась ты от него, наконец? — продолжала безжалостная

старуха.

— Если вы будете оскорблять моих друзей, то я сейчас же уйду и больше никогда не буду говорить с вами! — вскричала Барбара, густо покраснев от гнева.

— Очень хорошо! — язвительно заметила леди Кастерлей.

Я думаю, мне лучше уйти, — проговорила, задыхаясь Барбара. — Я не знаю, зачем вы посылали за мной!

Леди Кастерлей холодно ответила.

— Я хочу, чтобы ты и твоя мать знали, как самоотверженно поступила эта женщина. Я хотела предупредить вас обеих, чтобы вы наблюдали за Евстафием, и чтобы ты загладила свои безумства. А, кроме того, я хотела предостеречь тебя против…

— Против кого?

— Баб! — проговорил умоляющим тоном лорд Деннис.

Вдруг раздался голос лакея, доложившего:

— Лорд Мильтоун.

Он появился в дверях тотчас же вслед за лакеем. Лицо его было мертвенно бледно. На него страшно было смотреть.

— Мне надо поговорить с вами одной, — ска-

зал он вместо приветствия, обращаясь к леди Кастерлей.

И в первый раз в жизни эта смелая женщина оробела.

Лорд Деннис увлек Барбару в другую комнату, но там он остановился и шепнул ей:

— Подождем здесь. Мне эта история очень не нравится.

Барбара слышала суровый голос Мильтоуна, горько упрекавшего за что-то леди Кастерлей, слышала, как она отвечала ему, Оба были так поглощены своим спором, что не заметили, как Барбара снова вошла в комнату и заняла прежнее место у окна.

Леди Кастерлей говорила:

— Я не хотела быть свидетельницей твоей гибели, Евстафий. Я сделала то, что считала нужным сделать, и это мне было не легко, поверь мне! Я думала о тебе… Да, ты можешь язвительно улыбаться на мои слова, ты можешь ненавидеть меня, но… не изменяй своему знамени, не сетуй и не жалуйся, как ребенок! Бери свои доспехи и отправляйся на арену… не будь малодушным, мой мальчик!

— Замолчите!.. — почти крикнул Мильтоун.

В этом восклицании была такая сила горя и

подавленного гнева, вырвавшегося наружу, что Барбара испуганно вскрикнула. Леди Кастерлей дрожа съежилась в своем кресле. Ни слова не говоря, Мильтоун выбежал из комнаты. Барбара поняла, что он не вернулся бы даже в том случае, если бы его бабушка упала тут мертвая.

Леди Кастерлей, увидев Барбару, сказала ей дрожащим голосом:

— Иди за ним… не оставляй его одного.

Барбара выбежала и настигла брата в тот момент, когда он садился в таксомотор. Она молча уселась с ним рядом, и он, точно не замечая ничего, сделал знак шоферу, чтобы он ехал. Ему было все равно, куда ехать, только бы поскорее уехать отсюда.

Барбара высунулась в окно и тихо сказала:

— Поезжайте в Неттльфольд, в Суссекс. Получите плату, какую хотите. Только скорее.

Барбара украдкой смотрела на Мильтоуна, и сердце ее обливалось кровью. Она понимала, как он страдает. Ей хотелось утешить его, но как? Что она может сказать ему? Что он намерен делать? Может быть, он все-таки будет упорствовать, уйдет из парламента и будет искать Одри Ноэль? Но, если даже он найдет ее, и они опять будут вместе, разве не повторится тоже самое? Ведь

она ушла, чтобы не быть препятствием на его жизненном пути!

И вдруг ужасный страх сжал сердце Барбары. Что если Евстафий под влиянием отчаяния покончит с собой. Ведь, это бывает… Но нет! Это невозможно! И все-таки эта мысль не давала ей покоя. Она леденила ее душу, а Евстафий полулежал в углу с закрытыми глазами. Может быть, он заснул? Она нагнулась к нему.

Он вдруг открыл глаза и, точно читая ее мысли проговорил:

— Ты думаешь, что я хочу наложить на себя руки?

— О нет, нет! — испуганно протестовала Барбара.

— Куда мы едем?.. — спросил он.

— В Неттльфольд. Может быть, ты хочешь в какое-то другое место?

— Нет. Мне все равно.

И он снова забился в угол. Прижавшись к нему, Барбара шепнула:

— Если бы ты… если бы ты поговорил со мной!

Но Мильтоун молчал и только ласково гладил руку сестры. Было уже совсем темно, когда таксомотор вдруг замедлил движение. Шофер зажег фонари и заглянул в окно экипажа:

— Я должен здесь остановиться, мисс, — сказал он. — У меня вышел запас бензина. Не хотите ли вы здесь пообедать… или прикажете ехать дальше.

— Дальше, — отвечала Барбара.

Они проехали маленький городок и автомобиль опять покатился по дороге, по обеим сторонам которой возвышались огромные сосны. Барбара долго смотрела, как они убегали, точно темные призраки, гнавшиеся за кем-то. Мильтоун не прерывал молчание. Барбаре хотелось знать, о чем он думает, но она не спрашивала его. Мало-помалу мерное покачивание экипажа убаюкало ее, и она уснула. Когда она проснулась, то увидала дюны, освещенные луной. Она испуганно поглядела на Мильтоуна. Он сидел все так же неподвижно, с открытыми глазами и думал свою невеселую думу. Барбара прижалась к нему, чувствуя, что не в силах удержать рыданий. Да, они оба свалились на землю с подрезанными крыльями!

— Не плачь Баб, не плачь, дорогая, — услышала она ласковый голос Мильтоуна.

Но слезы, катившиеся градом из ее глаз, приносили ей облегчение.

Все проходит в жизни… И это пройдет, как тя-

желый сон. И они снова будут счастливы… как были счастливы несколько месяцев тому назад, пока «это» не случилось.

— Евстафий, дорогой!.. Потерпи немного… потом будет легче, — шептала она.

Глава XLI

Старая леди Гарбинджер умерла в первых числах февраля в следующем году, поэтому свадьба ее сына с Барбарой была отложена до июня.

В день свадьбы, рано утром Барбара проснулась со страстным желанием поехать одна верхом в те места, где она каталась год тому назад, вместе с Куртье. Она не хотела разбираться в том, что побуждало ее к этому, но столь внезапно вспыхнувшее желание надо было исполнить во чтобы ни стало.

В Монкленде еще никто не просыпался, и Барбаре стало смешно и весело, когда она увидела изумленное лицо своей горничной, растерянно смотревшей на свою госпожу, совершенно одетую и готовую для верховой прогулки.

Барбара выехала из парка и свернула на боковую дорогу между изгородями. Скоро оуа миновала луг и вдруг увидала какую-то женскую фигуру, шедшую ей навстречу. Барбара к величайшему своему изумлению узнала миссис Ноэль. Уйти от этой встречи было нельзя. Но как быть? Что сказать ей. Говорить ли ей о свадьбе и

выдать присутствие Мильтоуна? Может ли она вообще заговорить с ней, не разбередив в ее душе какой-нибудь раны?

Но нерешительность была несвойственна Барбаре, поэтому она прямо подъехала к миссис Ноэль с восклицанием:

— Как я рада видеть вас!.. Я не знала, что вы здесь.

— Я только вчера вернулась в Англию и приехала сюда, чтобы собрать свои вещи, — спокойно отвечала миссис Ноэль.

— Вы уже знаете, вероятно, какая перемена произошла в моей жизни?

Миссис Ноэль улыбнулась и, посмотрев на нее, сказала:

Я услышала об этом вчера… От всей души желаю вам счастья.

Словно ком встал в горле Барбары, и она с трудом повторила:

— Я так рада… так рада, что видела вас!.. Прощайте!

Однако, все это радостное оживление сразу исчезло, и ей уже больше никуда не хотелось ехать. «Неужели… неужели, никогда не будет хорошо… по-прежнему?» — шептала она, возвращаясь домой.

Сойдя с лошади у конюшни, Барбара вошла в дом по старинной, потайной лестнице замка. Ей пришлось пройти через большую темную комнату, прилегавшую к библиотеке и там она увидала Мильтоуна. Он сидел в кресле с книгой на коленях. Но он не читал. Барбара ясно видела, что его неподвижный взгляд был устремлен на портрет предка, старого кардинала Карадока.

Барбара вышла на цыпочках из комнаты. Она не хотела выдать своего присутствия брату, не хотела, чтобы он знал, что она прочла в этот час в его душе.

Вследствие траура свадьба состоялась в тесном семейном кругу, и тотчас же после свадебного обеда Мильтоун ушел к себе, в свою «берлогу». Из всех людей, присутствовавших на бракосочетании в маленькой сельской церкви, он казался самым безучастным, но был взволнован больше всех. Ему не нравилась пышность, которою была обставлена брачная церемония, совершенная в маленькой сельской церкви. Он покинул Монкленд Коурт тотчас же после свадьбы сестры. Он не был там ни разу со времени отъезда миссис Ноэль и не выезжал из Лондона. Он погрузился в работу, и работа спасла его. В самом деле, он надел «свои доспехи», как выражалась леди Кастерлей

и вышел на политическую арену. Но посещение Монкленд Коурта и брачная церемония снова подняли бурю в его душе. Ему хотелось побыть одному, чтобы успокоиться и снова найти душевное равновесие.

Он вышел из парка и пошел через луг по тропинке, слегка белевшей в темноте. Ни луны, ни звезд не было видно, но темнота была какая-то прозрачная и можно было ясно различить очертания предметов. Ни на лугу, ни на дороге никого не было видно; как будто все кругом погрузилось в сон и только шаги Мильтоуна, да журчание потока поблизости, гулко разносились в ночной тишине.

Пройдя луг и обогнув изгородь, Мильтоун вдруг увидел перед собой опустевший коттедж, в котором жила прежде миссис Ноэль. Он прислонился к решетке сада и стал всматриваться в темноту. Ему казалось, что он видит какие-то тени, слышит какие-то звуки… Но он понял, что это было биение его собственного сердца, точно стремившегося порвать сдерживавшие его путы.

Воспоминания горячей волной обдавали его, пробуждая в его душе прежнюю жажду счастья, любви. Но он уже не чувствовал в себе той силы страсти, разрушающей все преграды, которая за-

ставила его тогда в ту памятную ночь, вернуться к ней. Пожалуй, то, что он чувствовал теперь, было глубже и давило его своей тяжестью. Его любовь с подрезанными крыльями лежала сраженная на дне души. Но даже если бы она поднялась и победила, могло быть иначе?

Он закрыл лицо руками и долго стоял неподвижно. Потом он вдруг почувствовал, что находится близко. Когда он поднял голову, то в самом деле увидел свет, падавший из окна и увидел ее. Она вышла на веранду. Мильтоун, мог ясно различить ее белую фигуру от головы до ног и не сообразив, что она не могла его видеть, с трепетом ждал, что она вскрикнет, позовет его. Но она ничем не выдала, что также видит его. Постояв несколько минут на веранде, она тихо вошла в дом, не зная и не чувствуя, что любимый человек тут, по близости.

Мильтоун, задыхаясь, схватился за решетку, точно хотел разломать ее, чтобы ринуться к ней, и вдруг остановился… К чему? Сжимая руками грудь, чтобы заглушить биение своего сердца и стараясь, как можно тише ступать по траве, чтобы не выдать своего присутствия, он отошел от решетки сада и скрылся в темноте.

Прошел год. Леди Кастерлей недавно перенес-

шая сильный приступ инфлюэнции, в первый раз вышла в свою оранжерею, взглянуть на японские лилии, которые только что расцвели. Болезнь и волнения этого года оставили свой след на здоровье старушки, и она уже не казалась такой бодрой и крепкой, как прежде. Рука ее, державшая только что полученное письмо, слегка дрожала. Письмо было от леди Валлейс. Она писала:

«Спешу уведомить вас, дорогая мама, что Баб благополучно родила прелестного ребенка. Она посылает вам сердечный привет и велит передать какие то непонятные слова, которые будто бы вы будете рады услышать, что она теперь в безопасности и уже обеими ногами стоит на твердой почве».

По бледным губам леди Кастерлей пробежала усмешка. Давно пора было вернуться на твердую почву! Баб, ведь, стояла на краю пропасти и чуть-чуть не совершила безумного романтического поступка! Еще шаг и было бы поздно. Леди Кастерлей снова поднесла письмо к глазам и прочла следующие строки:

«На днях мы возвращаемся домой. Джоффрей никак не может примириться с отсутствием Баб. Ее так не хватает в доме. Я очень зорко наблюдала за Евстафием все это время и в самом деле думаю,

что он благополучно перенес кризис. Он пользуется большим успехом в парламенте. Джоффрей говорит, что его речь по поводу закона о бедных была очень хороша».

Письмо выпало из рук задумавшейся старухи. Да, он благополучно перенес кризис, он теперь в безопасности. И со временем он будет счастлив. Он поднимется на желанную высоту власти, о которой она мечтала для него, когда он был еще ребенком. Да, он поступил правильно… Так надо было!

Но вдруг какая-то тень пробежала по лицу старухи. Вспомнила ли она о нежном цветке любви, который был сорван и смят безжалостною рукой судьбы? Не она ли сыграла роль этой судьбы?.. Но нет!.. «Характер человека определяет его судьбу» — гласит древнее греческое изречение.

Леди Кастерлей вздохнула и дрожащей рукой подняла письмо. Характер Мильтоуна определил его судьбу. Она могла быть спокойна за него. Он не изменит своему знамени.